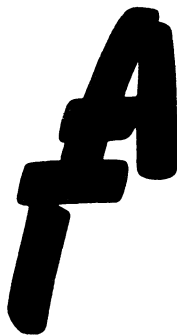


Александр Галич

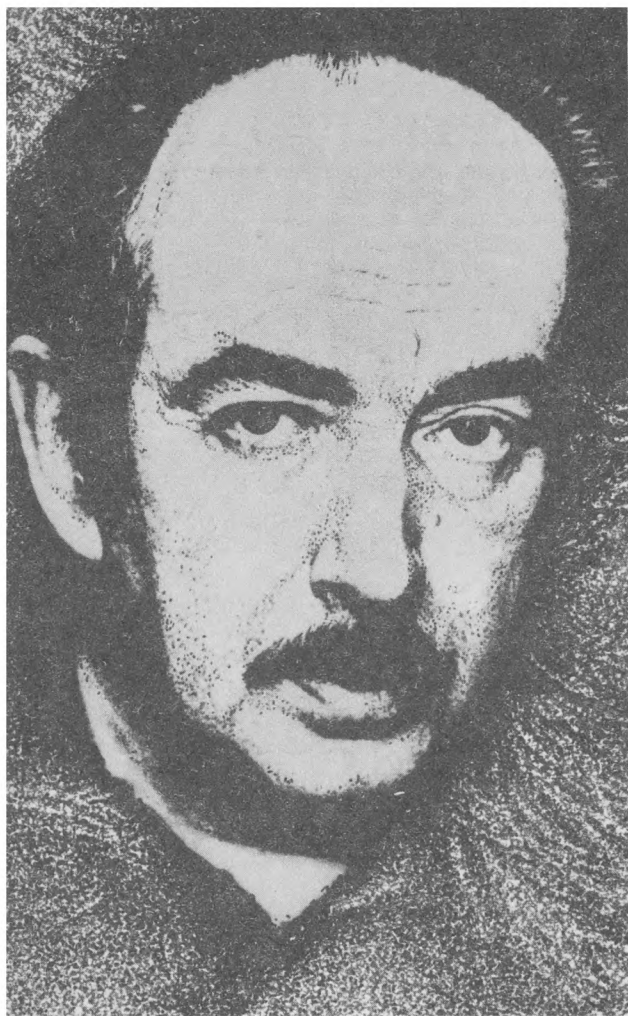
Александр Галич
ВОЗВРАЩЕНИЕ





Александр
Галич

ВОЗ-
ВРАЩЕ-
НИЕ



Александр Галич ВОЗВРАЩЕНИЕ



СТИХИ
ПЕСНИ
ВОСПОМИНАНИЯ



ЛЕНИНГРАД · «МУЗЫКА» · 1990

Г 15

Составитель Г. СОЛОВЬЕВА

Литературный консультант А. АРХАНГЕЛЬСКАЯ (ГАЛИЧ)

Художник А. КАРМАЦКИЙ

Г $\frac{4905000000-657}{026(01)-90}$ КБ № 4132

ISBN 5-7140-0404-3

© Издательство «Музыка», 1990 г.
Вступительная статья, составление, оформление.

«Я НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ ОСТАНУСЬ»

«Это стихи. И это песни. Во всяком случае, это стихи, которые поются. То, что исполняются они, как правило, под аккомпанемент гитары — не делает их ни лучше, ни хуже. Просто именно так и для этого они написаны!..» — этими словами открыл Александр Галич свой домашний, самиздатовский сборник стихотворений («сам» — в прямом смысле, поскольку печатались стихи на машинке и затем переплетались самим Александром Аркадьевичем при помощи его отца; существовала такая книга всего в нескольких экземплярах). Сюда вошли стихи 1964—1966 годов. И композиция книги, и архитектоника стихотворений, да и варианты — все здесь авторское, все — впервые. Впоследствии, уже в зарубежных изданиях, Галич существенно менял расположение стихотворений в книгах, пересоставлял одни циклы, отказывался от других. Но здесь, в этом сборничке, на пожелтевшей от времени бумаге еще все в первый раз. Книжку открывает одна из самых знаменитых песен Галича «Старательский вальсок».

...И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но ни «против», конечно, а «за»!
Где теперь крикуны и печальники?!
Отшумели и сгнули смолоду!
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото!

«А все-таки я поэт...» — сказал как-то незадолго до своего отъезда Александр Аркадьевич в разговоре с близкими. Казалось, никто с этим не собирался спорить, но сам он долго шел не к осмыслению, скорее, а к констатации этого факта: если в молодости, выбирая между Литературным институтом (в который легко поступил) и оперно-драматической Студией Станиславского, Галич остановился именно на Студии, то позднее все же вернулся к тому, с чего начал — к поэзии.

«Если будешь писать — будешь писать... А тут [в Студии] все-таки Леонидов, Станиславский — смотри, пока они живы», — сказал ему в те годы Павел Иванович Новицкий, известный театральный критик. «И я... выбрал Студию», — вспоминает Галич в автобиографической повести «Генеральная репетиция».

Впоследствии, сыграв на сцене не одну роль, Галич естественным образом пришел к драматургии — этому способствовала сама атмосфера студии Арбузова и Плучека, куда он попал перед войной и где писали, кажется, чуть ли не все (подробнее об этом сказано в той же «Генеральной репетиции»). Одна за другой создаются пьесы. Они пользуются небывалой по тем временам популярностью, как, впрочем, и фильмы, снятые по сценариям Галича («Верные друзья», «На семи ветрах», «Государственный преступник», «Дайте жалобную книгу», совместный советско-французский «Третья молодость» о Мариусе Петипа и др.).

Все это время он не перестает писать стихи. Детские его сочинения печатались в «Пионерской правде». В 1942 году ограниченным тиражом вышел его первый поэтический сборник «Мальчики и девочки» — это по-юношески романтические, искренние, но довольно обезличенные стихи. В них нет ничего от того Галича, которого мы знаем сейчас. Как, впрочем, нет и в «официальных» песнях, которые он позднее писал для своих пьес и кинофильмов, хотя некоторые из них были в то время достаточно популярны...

В 1961 году в поезде «Москва — Ленинград» Галич

пишет свою знаменитую «Леночку», ознаменовавшую новый этап его творчества и судьбы. Казалось бы, чем примечательна эта песня? Добрый и веселый рассказ об «останкинской девочке», которая выходит вдруг замуж за «эфиопского принца» и становится «шахиной Л. Потаповой». Но здесь автор наконец нащупывает то главное, к чему стремился интуитивно: соединение интонаций разговорной речи с сюжетностью повествования песни-баллады, опора на городской фольклор. Размышляя впоследствии о творчестве Пастернака, Галич отмечал, что Пастернак ему ближе других поэтов, «потому что первым пробивался к уличной, бытовой интонации и к такому же языку,— к тому, что... в поэзии наиболее интересно». Именно эта бытовая непосредственная интонация и была найдена Галичем в его «Леночке». Интересно, что многие из его песен отделялись от автора, становились впоследствии как бы народными. Что же касается использования «блатной» лексики, то она в них настолько естественна, что порой это приводило к легендам о том, что сам автор прошел через нелегкие испытания «архипелага ГУЛАГа».

Зарождается такое явление, как авторская песня. Вместе с песнями Галича звучат голоса Окуджавы и Визбора, Высоцкого, Новеллы Матвеевой. Отличие Галича от них в «злободневности, сегодняшности, неприкрашенности» (В. Ардов), в четкой политической направленности его песен.

Галич размышлял о перспективах такого рода поэзии, поэзии под гитару: «Я считаю, что эта форма, хотя и была изобретена до Гутенберга, естественно возродилась в наши дни, когда книгопечатание, к сожалению, занимает в жизни среднего человека значительно меньшее место, чем телевизор, магнитофон или радио. И я думаю, что эта форма не только не будет отмирать, но, наоборот, будет совершенствоваться... Я не только не думаю, что этот жанр исчерпал себя: наоборот, он, по существу, еще только начинается. И когда-нибудь, после Гутенберговской эпохи, о нас будут вспоминать как о зачинателях, вернее, продолжателях прерванной традиции».

Многие песни поэта рождались из стихотворений, требовалось определенное время на их осмысление, на рождение мелодии, которая вносила в тексты свое музыкальное решение, подчас и вовсе меняла первоначальный смысл стихотворения. Вместе с тем многие стихи Галича возникли именно как песни. Знание мелодии несомненно позволяет читателю воспринимать их более глубоко и полно. Это существенно еще и потому, что, исполняя свои песни, Галич часто вносил в мелодию принципиальные интонационные изменения. Но дело, конечно, не только в богатстве музыкальных средств. Читая стихи и песни Галича, нельзя не заметить, как в одном тексте иногда по несколько раз меняется поэтический размер — это всегда обусловлено динамикой речи, диалога: многие песни именно и представляют собой такой разговор-диалог, он может вестись между разными людьми, но может быть и спором человека с самим собой. Серьезная интонация чередуется в таких случаях с ироничной, сатирическая с элегической нотой, причем и сатира и ирония носят не «бичующий», а скорее сострадающий характер.

То, что Галич пришел в литературу из театра, несомненно, сказалось на содержании его песен. Большинство из них написано от лица того или иного героя с использованием характерной для этого героя лексики, отражающей круг его общения, интересов, его жизненный опыт. Клим Петрович, товарищ Парамонова, останкинские Танечка и Леночка и другие персонажи Галича легко узнаваемы, даже спустя годы мы нередко встречаем их в метро, у магазина, на собрании. Можно говорить о песенном «театре Галича», как говорят, к примеру, о театре Высоцкого, тоже пришедшего к авторской песне, имея уже за плечами большой сценический опыт.

«Посмотрите, очень многие из этих сочинений заключают в себе точный сюжет, практически перед нами короткие новеллы-повести, новеллы-притчи и сатиры. И каждая несет совершенно определенный характер главного действующего лица или, так сказать, лирического героя». С этими словами Галича об особенностях авторской песни перекликается ха-

рактика его песенного творчества, данная В. Ардовым:

«...Хочется отметить удивительную изобретательность в сюжетных построениях каждой песни. Я говорил уже об этом. Но надо еще добавить, что каждая песня у Вас — это маленькая драма, построенная мастером-комедиографом. Изобретательность и эффектность всех поворотов сюжета удивительные. Причем эффектность не внешняя: каждая перипетия анекдота дает эффект не только внешнедраматургический, но и работает на характеры действующих лиц, на социальный фон всей вещи. Слушатель узнает подробности нашего быта и нравов с радостью тем большею, что автор обличает пошляков и дураков».

Кончается время хрущевской оттепели. Назревает необходимость выбора: оставаться ли вопреки своим убеждениям в «обойме» признанных и популярных или вступать в борьбу, отстаивая свою позицию. Галич выбирает последнее. Впоследствии он говорил в одной из бесед: «Мне все-таки уже было под пятьдесят. Я уже все видел. Я уже был благополучным сценаристом, благополучным драматургом, благополучным советским холуем. И я понял, что я так больше не могу. Что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду».

...В 1968 году в Новосибирском академгородке состоялся первый концерт самодеятельной песни. Одной из самых ярких страниц его становится выступление Александра Галича. Во время исполнения песни «Памяти Пастернака» многотысячный зал молча встает.

Галич все еще популярен, хотя его имя все чаще и чаще вызывает «напряженное» отношение у «компетентных органов» (напомню, что после новосибирского концерта в местной вечерней газете была опубликована отрицательная рецензия, большая часть которой была посвящена крайне негативной оценке творчества А. Галича). Вместе с Андреем Сахаровым он вступает в Комитет защиты прав человека. Новые песни в многочисленных магнитофонных копиях расходятся бук-

важно по всей стране. В силу особой популярности «бардовской песни» они становились едва ли не опасней прозы Солженицына, Войновича, Шаламова...

Давление нарастает. Галича пытаются лишить и той мизерной пенсии по инвалидности, на которую он вынужден был существовать в эти годы.

Впрочем, как это часто бывает, нажим такого рода происходит исподволь. Парадоксально, но факт: ни одна из официальных государственных инстанций писателя не преследовала. Его не ссылали, как Сахарова, не сажали в тюрьму, как Марченко, не заключали в психушку, как Плюща... И все же 29 декабря 1971 года Московская писательская организация исключает Галича — в это просто никто не мог поверить! — из своих рядов. «Среди выдвинутых против Галича обвинений,— как сообщает „Посев“,— было опубликование его песен за границей... сотрудничество в Комитете прав человека академика Сахарова, стремление широко распространять в Советском Союзе свою точку зрения...»

С ним расторгаются уже заключенные ранее договоры, с вежливым отказом возвращаются уже казалось бы одобренные заявки... Вскоре Галич перестает быть членом Союза кинематографистов и, что вообще уже беспрецедентно,— Литфонда. (Напомню, что исключенный отовсюду Пастернак все же членом Литфонда оставался.)

Судьба Галича неразрывно связана с его песнями. В них он в поэтической и музыкальной форме весьма опасно для властей выражает свои более чем крамольные по тем временам мысли и убеждения, для распространения которых вовсе не нужны были какие-либо полиграфические мощности, включая даже и такую «множительную технику», как пишущие машинки:

Есть магнитофон системы «Яуза»!

И этого достаточно.

Мысли свои и убеждения он никогда не скрывал, считая умолчание постыдным и недостойным.

В силу сложившихся обстоятельств и под давлением тех же самых «компетентных органов» поэт вынужден в 1974 году навсегда покинуть Родину. Это сейчас мы знаем, что он уехал навсегда, сам-то Галич был совершенно уверен, что еще вернется, обязательно вернется обратно.

«Добровольность этого отъезда, она номинальная, она фиктивная, она по существу вынужденная,— эти слова Галича опубликованы 31 октября 1988 года в газете „Правда“.— Но все равно. Это земля, на которой я родился. Это мир, который я люблю больше всего на свете... Это все равно то небо, тот клочок неба, который мой клочок. И поэтому единственная моя мечта, надежда, вера, счастье, удовлетворение в том, что я все время буду возвращаться на эту землю. А уж мертвый-то я вернусь в нее наверняка». Этой уверенностью пронизаны и его последние стихи, интервью, фильм «Беженцы XX века», снятый в Норвегии по его сценарию... Именно за рубежом выходят его книги, первые пластинки с записями песен. Он много и успешно гастролирует. Виктор Некрасов вспоминает:

«Когда Александр Галич выступал в Иерусалиме, громадный зал, рассчитанный на несколько тысяч зрителей, не мог вместить всех желающих. Овации, успех, а Саша грустно улыбался — ему не хватало кухонь и тесных московских комнат, где собирались друзья послушать любимого барда. Он уже рассказывал мне об успехе его концертного турне по Италии, и опять же грустная улыбка. Успех успехом, но... Только у нас, дома, могут оценить всю трагичность и глубину его песен — понятно ведь каждое слово, каждый нюанс, каждые „коньячку полкило“ — на Западе-то его мелкими-мелкими глотками, после сытного обеда, с сигарой в руке...»

Смерть Галича была неожиданна и нелепа. Он умер 15 декабря 1977 года от удара электрическим током в тот момент, когда подсоединял антенну только что купленной стереосистемы. Не выдержало сердце, перенесшее к этому времени уже три инфаркта. Похороны состоялись на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа близ Парижа. Рядом могилы

Бунина, Мережковского, Гиппиус, Тэффи... Уже позже здесь появились захоронения Андрея Тарковского и Виктора Некрасова. Русские «Литераторские мостки» в Париже...

В 1988 году по ходатайству дочери поэта А. Архангельской (Галич) оба творческих союза отменили решения об исключении А. А. Галича из своих рядов. Впервые в СССР выходят книги поэта, идут в театрах его пьесы...

Прилетает по ночам ворон,
Он бессонницы моей кормчий.
Если даже я ору ором,
Не становится мой ор громче.
Он едва на пять шагов слышен,
Но и это, говорят, слишком.
Но и это, словно дар свыше,—
Быть на целых пять шагов слышным!

Не на пять шагов, конечно, слышен нынче голос Александра Галича. Его стихи, песни стали частью нашей жизни. Как точно отмечает тот же В. Некрасов, их «пела вся страна, от безусого мальчишки до старого пьяницы-шахтера, от городского подъезда до тюремной камеры... Эти песни записывали, переписывали, пели... И пели все... А все — это значит много, много миллионов... Можно назвать это славой, но это больше чем слава — это любовь».

А. Шаталов

ПРОМОЛЧИ...



ПЕСНЯ ОБ ОТЧЕМ ДОМЕ

Ты не часто мне снишься, мой Отчий Дом,
Золотой мой, недолгий век,
Но все то, что случится со мной потом,—
Все отсюда берет разбег!

Здесь однажды очнулся я, сын земной,
И в глазах моих свет возник.
Здесь мой первый гром говорил со мной
И я понял его язык.

Как же странно мне было, мой Отчий Дом,
Когда некто с пустым лицом
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том
Я не сыном был, а жильцом.

Угловым жильцом, что копит деньгу —
Расплатиться за хлеб и кров.
Он копит деньгу, и всегда в долгу.
И не вырвется из долгов!

— А в сыновней верности в мире сем
Клялись многие, и не раз,—
Так сказал мне некто с пустым лицом
И прищурил свинцовый глаз.

И добавил:
— А впрочем, слукавь, солги —
Может, вымолишь тишь да гладь!..
Но уж если я должен платить долги,
Так зачем же при этом лгать?!

И пускай я гроши наскребу с трудом,
И пускай велика цена —
Кредитор мой суровый, мой Отчий Дом,
Я с тобой расплачусь сполна!

Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари —
Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.

Не зови вызволять тебя из огня,
Не зови разделить беду.
Не зови меня!
Не зови меня...
Не зови —
Я и так приду!

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС

Посвящается Н. Рязанцевой

Жалеть о нем не должно,
...он сам виновник всех
своих злосчастных бед,
терпя, чего терпеть без подлости
не можно...

Н. Карамзин

...Быть бы мне поспокойней,
Не казаться, а быть!
...Здесь мосты, словно кони,—
По ночам на дыбы!

Здесь всегда по квадрату
На рассвете полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!

Здесь, над винною стойкой,
Над пожаром зари
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Что пойдя — повтори!

Все земные печали —
Были в этом краю...
Вот и платим молчаньем
За причастность свою!

Мальчишки были безусы
Прапоры да корнеты.

Мальчишки были безумны,
К чему им мои советы?!

Лечиться бы им, лечиться,
На кислые ездить воды —
Они ж по ночам:

«Отчизна!

Тираны! Заря свободы!»

Полковник я, а не прапор,
Я в битвах сражался стойко,
И весь их щенячий табор
Мне мнился игрой, и только.

И я восклицал: «Тираны!»
И я прославлял свободу,
Под пламенные тирады
Мы пили вино, как воду.

И в то роковое утро,
(Отнюдь не угрозой чести!)
Казалось, куда как мудро
Себя объявить в отъезде.

Зачем же потом случилось,
Что меркнет копейкой ржавой
Всей славы моей лучинность
Пред солнечной ихней славой?!

...Болят к непогоде раны,
Уныло проходят годы...
Но я же кричал: «Тираны!»
И славил зарю свободы!

Повторяется шепот,
Повторяем следы.

Никого еще опыт
Не спасал от беды!

О, доколе, доколе
И не здесь, а везде
Будут Клодтовы кони
Покоряться узде?!

И все так же, не проще,
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
В тот назначенный час?!

Где стоят по квадрату
В ожиданьи полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки?!

Спокойно

Быть бы мне по _ спо _ кой_ней, не ка _
_ зать _ ся, а быть! Здесь мос _ ты, слов_но
ко _ ни, — по но _ чам на ды _ бы! Здесь всег _
_ да по квад _ ра _ ту на рас _ све_те пол _

F A7 Dm Gm
 _ки — от Си — но — да к Се — на — ту, как че —

A7 Dm
 _ты — ре стро — ки! Здесь над вин но — ю

Gm C F
 стой_кой, над по — жа_ром за — ри на_кол —

Gm Gm6
 _до — ва — но столь_ко, на_бор — мо — та — но столь_ко, на_кол —

Dm
 _до — ва — но столь_ко, на_бор — мо — та — но столь_ко, что пой —

A7 Dm
 _ди — по_вто — ри! Все зем — ны — е пе —

Gm C F A7
 _ча_ли бы_ли в э_том кра — ю... Вот и

Dm Gm A7
 пла_тим мол_чань_ем за при_част_ность сво —

D A7
 _ю! Маль_чиш_ки бы_ли без_у_сы —
 _чить_ся бы_им, ле_чить_ся, на_я
 _ков_ник я, а не пра_пор,

пра_по_ры да кор_не_ты. Маль_чиш_ки бы_ли без_
 кис_лы_е ез_дить во_ды, о_ни ж по но_чам: «От_
 в бит_вах сра_жал_ся стой_ко, и весь их ше_ня_чий

Em A7 D (1.) D (2.3.)
 _ум_ны, к че_му им мо_и со_ве_ты?! Ле_//
 _чиз_на! Ти_ра_ны! За_ря сво_бо_ды!» Пол_//
 та_бор мне мнил_ся иг_рой и толь_ко И

A7 D
 я вос_кли_цал: «Ти_ра_ны!» И я про_слав_лял сво_

H7 Em
 _бо_ду, под пла_мен_ны_е ти_ра_ды мы

A7 D
 пи_ли ви_но, как во_ду... И в то ро_ко_во_е
 _чем же по_том слу_

A7 D
 ут_ро от_нюдь не у_гро_зой чес_ти ка_
 _чи_лось, что мерк_нет ко_пей_кой ржа_вой всей

H7 Em A7
 _за_лось, ку_да как муд_ро се_бя объ_я_вить в отъ_
 сла_вы мо_ей лу_чин_ность пред сол_неч_ной их_ней

D A7
 _ез_де. За_//
 сла_вой?! ...Бо_лят к не_по_го_де ра_ны, у_

D H7 замедляя
 _ны_ло про_хо_дят го_ды... Но я же кри_чал: «Ти_

Em A7 D

ра_ны!» И сла_вил за_рю сво_бо_ды!

Dm A7 2

По_вто_ря_ет_ся ше_пот, по_вто_ря_ем сле_

Dm B Gm6

ды. Ни_ко_го е_ще о_пыт

C 2 F Dm

не спа_сал от бе_ды! О, до_ко_ле, до_

Gm C F A7 Dm

_ко_ле и не здесь, а вез_де бу_дут клад_то_вы

Gm A7 Dm

ко_ни по_ко_рять_ся уз_де?

Dm Gm 2 2 C F

И все так_же, не про_ше, век наш про_бу_ет нас —

Gm 2 Gm 2 Gm 2

мо_жешь вый_ти на пло_щадь, сме_ешь вый_ти на

Dm 2 2 2

пло_щадь, мо_жешь вый_ти на пло_щадь,




сме_ешь вый_ти на пло_щадь в тот на_зна_чен_ный

Musical staff 1: Treble clef, key signature of one flat (Bb). The melody consists of eighth and quarter notes. There are three pairs of eighth notes beamed together, each with a '2' above it. Chords are indicated above the staff: A7 above the second measure.



час?! Где всег_да по квад_ра_ту во_жи_

Musical staff 2: Treble clef, key signature of one flat (Bb). The melody continues with eighth and quarter notes. There are two pairs of eighth notes beamed together, each with a '2' above it. Chords are indicated above the staff: Dm above the first measure and Gm above the fourth measure.



дан_е пол_ки — от Си_но_да к Се_

Musical staff 3: Treble clef, key signature of one flat (Bb). The melody continues with eighth and quarter notes. There are two pairs of eighth notes beamed together, each with a '2' above it. Chords are indicated above the staff: C above the first measure, F above the second measure, A7 above the third measure, and Dm above the fourth measure. The word 'замедляя' is written above the staff between the third and fourth measures.



на_ту. как че_ты_ре стро_ки.

Musical staff 4: Treble clef, key signature of one flat (Bb). The melody concludes with eighth and quarter notes. There are two pairs of eighth notes beamed together, each with a '2' above it. Chords are indicated above the staff: Gm above the first measure, A7 above the second measure, and Dm above the third measure.

Но этой арифметики
Поэтам не узнать!
...Ни прошлым и ни будущим
Поэтам не узнать!

Где ж друзья твои, ровесники?
Некому тебя спасти!
Началось все дело с песенки,
А потом — пошла писать!
И по мукам, как по лезвию...
Размышляй теперь о том —
То ли броситься в поэзию,
То ли сразу — в желтый дом.

Славно, братцы, славно, братцы,
славно, братцы егеря!

Славно, братцы егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики, возвышенная речь!
А все-таки наветики страшнее, чем картечь!
Доносы и наветики страшнее, чем картечь!

По рисунку палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В черной бурке на коне.
Но оставь, художник, вымысел,
Нас в герои не крои!
Нам не зная жребий вывесил —
Носовой платок в крови.

Славно, братцы, славно, братцы,
славно, братцы егеря!

Славно, братцы егеря, рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики, нерукотворный стяг!
И дело тут не в метрике, столетие — пустьяк!
Столетие, столетие, столетие — пустьяк.

БЕССМЕРТНЫЙ КУЗЬМИН

Отечество нам Царское Село...

Александр Пушкин

Эх, яблочко, куды котишься...

Песня

Покатились
всячины и разности,
Поднялось неладное со дна!
— Граждане,
Отечество в опасности!
Граждане,
Отечество в опасности!
Граждане,
гражданская война!

Был май без края и конца,
Жестокая весна!
И младший брат,
сбежав с крыльца:
Сказал: «Моя вина!»

У царскосельского дворца
Стояла тишина,
И старший брат,
сбежав с крыльца,
Сказал: «Моя вина!»

И камнем в омут ледяной
Упали те слова.
На брата брат идет войной,
Но шелестит над их виной
Забвенья трын-трава!..

...А Кузьмин Кузьма Кузьмич выпил рюмку
«хлебного»,

А потом Кузьма Кузьмич закусил севрюжкой,
А потом Кузьма Кузьмич, взяв перо с бумагою,
Написал Кузьма Кузьмич буквами печатными,
Что как истый патриот, верный сын Отечества,
Он обязан известить власти предержавшие...

А где вы шли,
там дождь свинца,
И смерть, и дело дрянь!
...Летела с тополей пыльца
На бронзовую длань.

Там,
в царскосельской тишине,
У берега сонных вод...
И нет как нет конца войне,
И скоро мой черед!

...Было небо
в голубиной ясности,
Но сердца от холода свело:
— Граждане,
Отечество в опасности!
Граждане,
Отечество в опасности!
Танки входят
в Царское Село!

А чья вина? Ничья вина!
Не верь ничьей вине,
Когда по всей земле война
И вся земля в огне!
Пришла война — моя вина,
И вот за ту вину
Меня песочит старшина,
Чтоб понимал войну.

Вопят прохвосты-петухи,
Что виноватых нет,
Но за вранье и за грехи
Тебе держать ответ!

За каждый шаг и каждый сбой
Тебе держать ответ!
А если нет,
 так черт с тобой,
На нет и спроса нет!

Тогда опейся допьяна
Похлебкою вранья!
И пусть она — моя вина,
Моя вина, моя война
И смерть опять моя!

...А Кузьмин Кузьма Кузьмич хлопнул сто
 «молдавского»,
А потом Кузьма Кузьмич закусил селедочкой,
А потом Кузьма Кузьмич, взяв перо с бумагою,
Написал Кузьма Кузьмич буквами печатными,
Что как истый патриот, верный сын Отечества,
Он обязан известить всех, кому положено...

И не поймешь, кого казним,
Кому поем хвалу?!
Идет Кузьма Кузьмич Кузьмин
По Царскому Селу!

В прозрачный вечер у дворца —
Покой и тишина.
И с тополей летит пыльца
На шляпу Кузьмина...

СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ!

Спрашивает мальчик — почему?
Спрашивает мальчик — почему?
Двести раз и триста — почему?
Тучка набегает на чело,
А папаша режет ветчину,
Он сопит и режет ветчину
И не отвечает ничего.

Снова замаячили быль, боль,
Снова рвутся мальчики в пыль, в бой!
Вы их не пугайте, не отваживайте,
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, спрашивайте!

Спрашивайте, как и почему?
Спрашивайте, как и почему?
Как, и отчего, и почему?
Спрашивайте, мальчики, отцов!
Сколько бы ни резать ветчину,
Сколько бы ни резать ветчину —
Надо ж отвечать в конце концов!

Но в зрачке-хрусталике — вдруг муть,
А старые сандалики, ух, жмут!
Ну, и не жалейте их, снашивайте!
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!
Спрашивайте!!!

ЕЩЕ РАЗ О ЧЁРТЕ

Я считал слонов — и в нечет и в чет,
И все-таки я не уснул,
И тут явился ко мне мой чёрт
И уселся верхом на стул.

И сказал мой черт: «Ну, как, старина,
Ну, как же мы порешим?
Подпишем союз — и айда в стремяна,
И еще чуток погрешим!

И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми,— потом!
Аллилуйя, аллилуйя!
Аллилуйя — потом!

Но зато ты узнаешь, как сладок грех
Этой горькой порой седин,
И что счастье не в том, что один за всех,
А в том, что все — как один!

И поймешь, что нет над тобой суда,
Нет проклятия прошлых лет,
Когда вместе со всеми ты скажешь — да!
И вместе со всеми — нет!

И ты будешь волков на земле плодить,
И учить их вилять хвостом!

А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, потом!
Аллилуйя, аллилуйя!
Аллилуйя — потом!

И что душа? — Прошлогодний снег!
А, глядишь,— пронесет и так!
В наш атомный век, в наш каменный век,
На совесть цена пятак!

И кому оно нужно, это «добро»,
Если всем дорога — в золу...
Так давай же, бери, старина, перо!
И вот здесь распишись, в углу».

Тут черт потрогал мизинцем бровь...
И придвинул ко мне флакон,
И я спросил его: «Это кровь?»
«Чернила!» — ответил он...
Аллилуйя, аллилуйя!
«Чернила!» — ответил он.

Умеренно быстро

Я счи - тал сло - нов — и
не _ чет и в чет, и все- та_ки я не ус_нул,
и тут я _вил — ся ко

мне мой черт и у_сел_ся вер_хом на стул. И ска_

_зал мой черт: «Ну, как, ста_ри_на, ну,

как же мы по_ре_шим? Под_пишем со_юз — и ай_

_да в стре_ме_на, и е_ще чу_ток по_гре_

_шим! И ты можешь лгать, и можешь блу_дить, и дру_

_зей пре_да_вать гур_том! А

то, что при_дет_ся по_том пла_тнть, так ведь

э_то ж, пой_ми, по_том! Ал_ли_луй_я,

ал_ли_луй_я! Ал_ли_луй_я — по_том!

СТАРАТЕЛЬСКИЙ ВАЛЬСОК

Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань,
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль,
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере... к этакой матери.
Но поскольку молчание — золото,
То и мы, безусловно, старатели.

Промолчи — попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!

И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не «против», конечно, а «за!»
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгнули смолоду...
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото.

Промолчи — попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!

И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маета,
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!

Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому что молчание — золото!

Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

В темпе вальса

Мы дав - но на_зы - ва - ем_ся взрос_лы_ми
и не пла_тим маль_чи_шест_ву дань,
и за кла_дом на ска_зоч_ном ост_ро_ве
не стре_мим_ся мы в даль_нюю_ю даль,
ни в пус_ты_ню, ни к по_лю_су хо_ло_да,
ни на ка_те_ре... к э_та_кой ма_те_ри.
Но по_сколь_ку мол_ча_ни_е — зо_ло_то,

то и мы, без_ус_лов_но, ста_ра_те_ли.

Про_мол_чи — по_па_дешь в бо_га_чи!

Для повторения

Про_мол_чи, про_мол_чи, про_мол_чи!

Для окончания

Про_мол_чи, про_мол_чи, про_мол_чи!

ЛЕТЯТ УТКИ

Посвящается Л. Пинскому

С севера, с острова Жестева
Птицы летят,
Шестеро, шестеро, шестеро
Серых утят...
Шестеро, шестеро к югу летят...

— Хватит хмуриться, хватит злобиться,
Ворошить вороха былого,
Но когда по ночам бессонница —
Мне на память приходит снова:
 Мутный за тайгу
 Ползет закат,
 Строем на снегу
 Пятьсот зэка.

Ветер мокрой хлестал мочалкою,
То накатывал, то откатывал,
И стоял вертухай с овчаркою
И такую им речь откалывал:
«Ворон, растудыть, не выключет
Глаз, растудыть, ворону.
Но ежели кто закосит,
То мордой в снег.
И прошу, растудыть, запомнить,
Что каждый шаг в сторону
Будет, растудыть, рассматриваться,
Как, растудыть, побег!..»

Вьюга полярная спятила,
Бьет наугад!
А пятеро, пятеро, пятеро

Дальше летят...
Пятеро, пятеро к югу летят.
Ну, а может, и впрямь бессовестно
Повторяться из слова в слово?!
Но, когда по ночам бессонница,
Мне на память приходит снова:
 Не косят, не корчатся
 В снегах зэка,
 Разговор про творчество
 Идет в ЦК.

Репортеры сверкали линзами,
Кремем бритвенным пахла харя,
Говорил вертухай прилизанный,
Не похожий на вертухая:
«Ворон, извиняюсь, не выключет
Глаз, извиняюсь, ворону.
Но все ли сердцем усвоили,
Чему учит нас Имярек?
И прошу, извиняюсь, запомнить,
Что каждый шаг в сторону
Будет, извиняюсь, рассматриваться,
Как, извиняюсь, побег!»

Грянул прицельно, с подветренной —
В сердце заряд,
А четверо, четверо, четверо
Дальше летят!..

И если долетит хоть один, значит, стоило,
Значит, надо было лететь!..

ПЛЯСОВАЯ

Чтоб не бредить палачам по ночам,
Ходят в гости палачи к палачам,
И радушно, не жалея харчей,
Угощают палачи палачей.

На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь — «КВ» коньячок,
А впоследствии — чаек, пастила,
Кекс «Гвардейский» и печенье «Салют».
И сидят заплечных дел мастера,
И тихонько, но душевно поют:
«О Сталине мудром, родном и любимом...»

Был порядок,— говорят палачи,
Был достаток,— говорят палачи,
Дело сделал,— говорят палачи,—
И, пожалуйста, сполна получи.

Белый хлеб икрой намазан густо,
Слезы кипяточка горячей.
Палачам бывает тоже грустно.
Пожалейте, люди, палачей!

Очень плохо палачам по ночам,
Если снятся палачи палачам,
И как в жизни, но еще половчей,
Бьют по рылу палачи палачей.

Как когда-то, как в годах молодых,—
И с отяжкой, и ногою в поддых.

И от криков, и от слез палачей
Так и ходят этажи ходуном.
Созывают «неотложных» врачей
И с тоскою вспоминают о Нем,
«О Сталине мудром, родном и любимом...»

Мы на страже,— говорят палачи.
Ну, когда же? — говорят палачи.
Поскорей бы! — говорят палачи.—
Встань, Отец, и вразуми, поучи!

Дышит, дышит кислородом стража,
Крикнуть бы, но голос как ничей,
Палачам бывает тоже страшно,
Пожалейте, люди, палачей!

ОБЛАКА

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино.
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.

Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака.
Им тепло, небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века!

Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял!
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.

До сих пор в глазах снега наст!
До сих пор в ушах шмона гам!..
Эй, подайте ж мне ананас
И коньячку еще двести грамм!

Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия ни к чему.

Я и сам живу — первый сорт!
Двадцать лет, как день, разменял!
Я в пивной сижу, словно лорд,
И даже зубы есть у меня!

Облака плывут на восход,
 Им ни пенсии, ни хлопот...
 А мне четвертого — перевод,
 И двадцать третьего — перевод.

И по этим дням, как и я,
 Полстраны сидит в кабаках!
 И нашей памятью в те края
 Облака плывут, облака...
 И нашей памятью в те края
 Облака плывут, облака...

Умеренно

Об_ла _ ка плы _ вут, об_ла _

_ ка, не спе _ ша плы_вут, как в ки _

_ но. А я цып _ лен _ ка ем та_ба _

_ ка, я конь_яч _ ку при _ нял

пол- ки _ ло. Об_ла _ // _ка...

ОШИБКА

Мы похоронены где-то под Нарвой,
Под Нарвой, под Нарвой,
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.
Так и лежим, как шагали, попарно,
Попарно, попарно,
Так и лежим, как шагали, попарно,
И общий привет!

И не тревожит ни враг, ни побудка,
Побудка, побудка,
И не тревожит ни враг, ни побудка
Померзших ребят.
Только однажды мы слышим, как будто,
Как будто, как будто,
Только однажды мы слышим, как будто
Вновь трубы трубят.

Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Такие-сякие,
Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь — не вода!
Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия,
Если зовет своих мертвых Россия,
Так значит — беда!

Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В нашивках, в нашивках,
Вот мы и встали в крестах да в нашивках,

В снежном дыму.
 Смотрим и видим, что вышла ошибка,
 Ошибка, ошибка,
 Смотрим и видим, что вышла ошибка
 И мы — ни к чему!

Где полегла в сорок третьем пехота,
 Пехота, пехота,
 Где полегла в сорок третьем пехота,
 Без толку, зазря,
 Там по пороше гуляет охота,
 Охота, охота,
 Там по пороше гуляет охота,
 Трубят егеря!

Там по пороше гуляет охота,
 Трубят егеря...

Не спеша

Мы по_хо _ ро _ не _ ны где-то под Нар _ вой,
 под Нар _ вой, под Нар _ вой,
 мы по_хо _ ро _ не _ ны где-то под Нар _ вой,
 мы бы _ ли — и нет. Так и ле _

_ жим, как ша _ га _ ли, по _ пар _ но, по _

_ пар _ но, по _ пар _ но, так и ле _

_ жим, как ша _ га _ ли, по _ пар _ но, и об _ щий

при _ вет! // _ бят е _ ге _ ря...

БАЛЛАДА О ВЕЧНОМ ОГНЕ

Посвящается Л. Копелеву

Мне рассказывали, что любимой мелодией лагерного начальства в Освенциме, мелодией, под которую отправляли на смерть очередную партию заключенных, была песенка «Тум-балалайка», которую обычно исполнял оркестр заключенных.

«Червоны маки на Монте-Кассино» — песня польского Сопротивления.

...«Неизвестный», увенчанный славою бранной!
Удалец-молодец или горе-провидец?!
И склоняют колени под гром барабанный
Перед этой загадкой главы правительств!
Над немymi могилами — воплем — надгробья...
Но порою надгробья — не суть, а подобье,
Но порой вы не боль, а тщеславье храните —
Золоченые буквы на черном граните!..

Все ли про то спето?

Все ли — на век с болью?

Слышишь, труба в гетто

Мертвых зовет к бою!

Пой же, труба, пой же,

Пой о моей Польше,

Пой о моей маме —

Там, в выгребной яме!..

Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,

Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,

Тум-балалайка, шпилт балалайка,

Рвется и плачет сердце мое!

А купцы приезжают в Познань,

Покупают меха и мыло...

Подождите, пока не поздно,
Не забудьте, как это было!
Как нас черным огнем косило
В той последней слепой атаке...
«Маки, маки на Монте-Кассино»,
Как мы падали в эти маки...
А на ярмарке все красиво,
И шуршат то рубли, то марки...
«Маки, маки на Монте-Кассино»,
Ах, как вы почернели, маки!

Но зовет труба в рукопашный
И приказывает — воюйте!
Пой же, пой нам о самой страшной,
Самой твердой в мире валюте!..
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-балалайка, шпилт балалайка,
Рвется и плачет сердце мое!

Помнишь, как шел ошалелый паяц
Перед шеренгой на Аппельплац,
Тум-балалайка, шпилт балалайка,
В газовой камере — мертвые впляс...

А вот еще:

В мазурочке,
То шагом, то ползком,
Отправились два «урочки»
В поход за «языком»!
В мазурочке, в мазурочке,
Нафабрены усы,
Затикали в подсумочке
Трофейные часы!
Мы пьем, гуляем в Познани
Три ночи и три дня...

Ушел он неопознанный,
Засек патруль меня!
Ой, зори бирюзовые,
Закаты — анилин!
Пошли мои кирзовые
На город на Берлин!
Грома гремят басовые
На линии огня,
Идут мои кирзовые,
Да только без меня!..
Там у речной излучины
Зеленая кровать,
Где спит солдат обученный,
Обстрелянный, обученный
Стрелять и убивать!
Среди пути прохожего —
Последний мой постой,
Но нету, как положено,
Дощечки со звездой.

Ты не печалься, мама рódная,
Ты спи спокойно, почивай,
Прости-прощай, разведка ротная,
Товарищ Сталин, прощевай!
Ты не кручинься, мама рódная,
Как говорят, судьба слепа,
И может статься, что народная
Не зарастет ко мне тропа...

А еще:

Где бродили по зоне КаЭРы *,
Где под снегом искали гнилые корни,
Перед этой землей — никакие Премьеры,

* КаЭРы — так в лагерях называли осужденных по 58-й статье (контрреволюционеры).

Подтянувши штаны, не преклонят колени!
Над сибирской тайгой, над Камою, над Обью
Ни знамен, ни венков не положат к надгробью!
Лишь, как вечный огонь, как нетленная слава,—
Штабеля! Штабеля! Штабеля лесосплава!

Позже, друзья, позже,
Кончим навек с болью,
Пой же, труба, пой же!
Пой и зови к бою!
Медною всей плотью
Пой про мою Потьму!
Пой о моем брате —
Там, в Ледяной Пади!..

...Пой, труба, не чуди коленцами,
Пой, труба, чтобы сила крепла,
И чтоб встали мы, как в Освенциме,
Взявшись за руки — среди пепла!

Ах, как зовет эта горькая медь
Встать, чтобы драться, встать, чтобы сметь!
Тум-балалайка, шпилт балалайка,
Песня, с которой шли мы на смерть!
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Тум-балалайка, шпилт балалайка,
Рвется и плачет сердце мое!

НОЧНОЙ ДОЗОР

Когда в городе гаснут праздники,
Когда грешники спят и праведники,
Государственные запасники
Покидают тихонько памятники.
Сотни тысяч (и все похожие)
Вдоль по лунной идут дорожке,
И случайные прохожие
Кувыркаются в «неотложки».
 И бьют барабаны!..
 Бьют барабаны,
 Бьют, бьют, бьют!

На часах замирает маятник.
Стрелки рвутся бежать обратно.
Одиноким шагает памятник,
Повторенный тысячекратно.
То он в бронзе, а то он в мраморе,
То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки.
 И бьют барабаны!..
 Бьют барабаны,
 Бьют, бьют, бьют!

Я открою окно, я высунусь,
Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!
Вижу: бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведет процессию.
Он выходит на место лобное,
«Гений всех времен и народов!»

И, как в старое время доброе,
Принимает парад уродов.
И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!

Прет стеной мимо дома нашего
Хлам, забытый в углу уборщицей,
Вот сапог громыхает маршево,
Вот обломанный ус топорщится!
Им пока скрипеть да поругиваться,
Да следы оставлять линючие,
Но уверена даже пуговица,
Что сгодится еще при случае.
И бьют барабаны!
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!

Утро родины нашей розово,
Позывные летят, попискивая,
Восвояси уходит бронзовый,
Но лежат, притаившись, гипсовые.
Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличие.
Им бы, гипсовым, человечины —
Они вновь обретут величие!
И будут бить барабаны!..
Бить барабаны.
Бить, бить, бить!

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ

Не хочу посмертных антраша,
Никаких красотей не выберу.
Пусть моя нетленная душа
Подлецу достанется и шиберу!

Пусть он, сволочь, врет и предает,
Пусть он ходит, ворон, в перьях сокола,
Все на свете пули — в недолет,
Все невзгоды — не к нему, а около!

Хорошо ему у пирога,
Все полно приязни и приятельства —
И номенклатурные блага,
И номенклатурные предательства!

С каждым днем любезнее житье,
Но в минуту самую внезапную
Пусть ему — отчаянье мое
Сдавит сучье горло черной лапою!

ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ



ЛЕГЕНДА О ТАБАКЕ

Посвящается памяти замечательного человека, Даниила Ивановича Ювачева, придумавшего себе странный псевдоним — Даниил Хармс,— писавшего прекрасные стихи и прозу, ходившего в автомобильной кепке и с неизменной трубкой в зубах, который действительно исчез, просто вышел на улицу и исчез. У него есть такая пророческая песенка:

«Из дома вышел человек
С веревкой и мешком
И в дальний путь, и в дальний путь
Отправился пешком.
Он шел, и все глядел вперед.
И все вперед глядел.
Не спал, не пил,
Не спал, не пил.
Не спал, не пил, не ел.
И вот однажды поутру
Вошел он в темный лес.
И с той поры, и с той поры,
И с той поры исчез...»

Лил жуткий дождь.
Шел страшный снег.
Вовсю дурил двадцатый век.
Кричала кошка на трубе,
И выли сто собак.
И, встав с постели, человек
Увидел кошку на трубе,
Зевнул, и сам сказал себе —
Кончается табак!
Табак кончается — беда.
Пойду куплю табак.

И вот... но это ерунда.
И было все не так.

Из дома вышел человек
С веревкой и мешком.
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком...
И тут же, проглотив смешок,
Он сам себя спросил —
А для чего я взял мешок?
Ответьте, Даниил!
Вопрос резонный, нечем крыть,
Летит к чертям строка,
И надо, видно, докурить
Остаток табака...

Итак, однажды человек
Та-та-та с посошком...
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шел и все глядел вперед.
И все вперед глядел,
Не спал, не пил.
Не спал, не пил.
Не спал, не пил, не ел...

А может, снова все начать
И бросить этот вздор?!
Уже на ордере печать
Оттиснул прокурор...

Начнем все эдак — пять зайчат
Решили ехать в Тверь...
А в дверь стучат,

А в дверь стучат —
Пока не в эту дверь.

Пришли зайчата на вокзал,
Прошли зайчата в зальце.
И сам кассир, смеясь, сказал —
Впервые вижу зайца!

Но этот чертов человек
С веревкой и мешком,
Он и без спроса в дальний путь
Отправился пешком.
Он шел и все глядел вперед.
И все вперед глядел.
Не спал, не пил
Не спал, не пил.
Не спал, не пил, не ел.
И вот однажды поутру
Вошел он в темный лес.
И с той поры, и с той поры,
И с той поры исчез.

На поле — снег, на кухне — чад.
Вся комната в дыму.
А в дверь стучат.
А в дверь стучат,
На этот раз — к нему!

О чем он думает теперь,
Теперь, потом, всегда,
Когда стучит ногою в дверь
Чугунная беда?!

А тут ломается строка,
Строфа теряет стать,
И нет ни капли табака.

А т а м — уж не достать!
И надо дописать стишок.
Пока они стучат...
И значит, все-таки — мешок.
И побоку зайчат.
(А в дверь стучат!)
В двадцатый век!
(Стучат!)
Как в темный лес.
Ушел однажды человек
И навсегда исчез!..
Но Парка нить его тайком
По-прежнему прядет.
А он ушел за табаком.
Он вскорости придет.

За ним бежали сто собак.
И кот по крышам лез...
Но только в городе табак
В тот день как раз исчез.
И он пошел в Петродворец.
Потом пешком в Торжок...
Он догадался, наконец,
Зачем он взял мешок...

Он шел сквозь снег
И шел сквозь тьму.
Он был в Сибири и в Крыму.
А «опер» каждый день к нему
Стучится, как дурак...
И много, много лет подряд
Соседи хором говорят —
Он вышел пять минут назад,
Пошел купить табак...

НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

Памяти М. М. Зоценко

В матершинном субботнем загуле шалманчика
Обезьянка спала на плече у шарманщика,
А когда просыпалась, глаза ее жуткие
Выражали почти человечью отчаянность,
А шарманка дудела про сопки маньчжурские,
И Тамарка-буфетчица очень печалилась...

Спит гаолян,
Сопки покрыты мглой...

Были и у Томки трали-вали,
И не Томкой — Томочкою звали,
Целовалась с миленьким в осоке,
И не пивом пахло, а апрелем...
Может быть, и впрямь, на той высоте
Сгинул он, порубан и пострелян...

Вот из-за туч блеснула луна,
Могилы хранят покой...

И последний шарманщик — «обломок империи»
Все пылил перед Томкой павлиньими перьями,
Он выламывал, шкура, замашки буржуйские:
То, мол, теплое пиво, то мясо прохладное!
И шарманка дудела про сопки маньчжурские,
И спала на плече обезьянка прокатная.

Тихо вокруг,
Ветер туман унес...

И делясь тоской, как барышами,
Подпевали шлюхи с алкашами,
А шарманщик ел, зараза, хаши,

Алкашам подмигивал прелестно:
Дескать, деньги ваши — будут наши,
Дескать, вам приятно — мне полезно!
На сопках маньчжурских воины спят,
И русских не слышно слез...

А часов этак в десять, а может, и ранее,
Непонятный чудака появился в шалмании.
Был похож он на вдруг постаревшего мальчика,
За рассказ, напечатанный неким журнальчиком,
Толстомордый подонок с глазами обманщика
Объявил чудака — всенародно — обманщиком!

Пусть гаолян
Нам навевает сны...

Сел чудака за стол и вжался в угол,
И легонько пальцами постукал,
И сказал, что отдохнет немного.
Помолчав, добавил напряженно:
«Если есть боржом, то ради бога,
Дайте мне бутылочку боржома».

Спите, герои русской земли,
Отчизны родной сыны!..

Обезьянка проснулась, тихонько зацокала,
Загляделась на гостя, присевшего около,
А Тамарка-буфетчица — сука рублевая,
Покачала смущенно прическою пегою
И сказала: «Пардон, но у нас не столовая,
Только вы обождите, я за угол сбегаю».

Спит гаолян,
Сопки покрыты мглой...

А чудака глядел на обезьянку,
Пальцами выстукивал морзянку,
Словно бы он звал ее на помощь,

Удивляясь своему бездомью,
Словно бы он спрашивал: «Запомнишь?»
И она кивала: «Да, запомню».
Вот из-за туч блеснула луна,
Могилы хранят покой!..

Отодвинул шарманщик шарманку ботинкою,
Прибежала Тамарка с боржомной бутылкою.
И сама налила чудаку полстаканчика.
(Не знавали в шалмане подобные почести!)
А Тамарка, в упор поглядев на шарманщика,
Приказала: «Играй — человек в одиночестве».
Тихо вокруг,
Ветер туман унес!..

Замолчали шлюхи с алкашами,
Только мухи лапками шуршали...
Стало почему-то очень тихо,
Наступила странная минута —
Непонятное, чужое лихо
Стало общим лихом почему-то!
На сопках Маньчжурии воины спят,
И русских не слышно слез...

Не взрывалось молчанье — ни матом,
ни брехами.
Обезьянка сипела спаленными бронхами,
А шарманщик, забыв трепотню свою барскую,
Сам назначил себе — мол, играй да
помалкивай...
И почти что не слышно сказав:
«Благодарствую»,
Наклонился чудака над рукою Тамаркиной...
Пусть гаолян
Нам навевает сны...

И ушел чудак, не взявши сдачи,
Всем в шалмане пожелал удачи...
Вот какая странная эпоха —
Не горим в огне — и тонем в луже!
Обезьянке было очень плохо —
Человеку было много хуже!
Спите герои русской земли,
Отчизны родной сыны...

СНОВА АВГУСТ

Памяти А. А. Ахматовой

Анна Андреевна очень боялась и не любила месяц август, считала этот месяц для себя несчастливым и имела к этому все основания, поскольку в августе был расстрелян Гумилев на станции Бернгардовка, в августе был арестован ее сын Лев, в августе вышло известное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» и т. д.

«Кресты» — ленинградская тюрьма, Пряжка — район в Ленинграде.

...А так как мне бумаги не хватило, я на твоём пишу черновике.

Анна Ахматова. «Поэма без героя»

В той злой тишине, в той неверной,
В тени разведенных мостов,
Ходила она по Шпалерной,
Моталась она у «Крестов».

Ей в тягость? Да нет, ей не в тягость —
Привычно, как росчерк пера...
Вот если бы только не август,
Не чертова эта пора!

Таким же неверно-нелепым
Был давний тот август, когда
Над черным бернгардовским небом
Стрельнула, как птица, беда.

И разве не в августе снова,
В еще не отмеренный год,
Осудят мычанием слово
И совесть отправят в расход?!

Но это потом, а покуда
Которую ночь над Невой.
Уже не надеясь на чудо,
А только бы знать, что живой!

И в сумерки вписана четко,
Как вписана в нашу судьбу,
По-царски небрежная челка,
Прилипшая к мокрому лбу!

О, шелест финских сосен,
Награда за труды,
Но вновь приходит осень —
Пора твоей беды!

И август, и как будто
Все тоже, как тогда,
И врет мордастый Будда,
Что горе — не беда!

Но вьется, вьется челка
Колечками на лбу.
Уходит в ночь девчонка
Пытать твою судьбу!

Следят за нею постно
Из окон сотни глаз,
А ей плевать, что поздно,
Что комендантский час!

По улице: бессветной,
Под окрик патрулей,
Идет она бессмертной
Походкою твоей.

На праздник и на плаху
Идет она, как ты!

По Пряжке, через Прагу —
Искать свои «Кресты»!

И пусть судачат глупые соседи,
Пусть кто-то обругает не со зла,
Она домой вернется на рассвете
И никому ни слова — где была...

Но с мокрых пальцев облизнет чернила
И скажет, притулившись в уголке:
«Прости, но мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике...»

БЕЗ НАЗВАНИЯ

И благодарного народа
Он слышит голос: «Мы пришли,
Сказать: где Сталин, там свобода,
Мир и величие Земли!»

Анна Ахматова

Ей страшно. И душно. И хочется лечь.
Ей с каждой секундой ясней,
Что это не совесть, а русская речь
Сегодня глумится над Ней.

И все-таки надо писать эпилог,
Хоть ломит от боли висок,
Хоть каждая строчка, и слово, и слог
Скрипят на зубах, как песок.

...Скрипели слова, как песок на зубах,
И вдруг расплывались в пятно.
Белели слова, как предсмертных рубах
Белеет во мгле полотно.

...По белому снегу вели на расстрел
Над берегом белой реки,
И сын Ее вслед уходившим смотрел
И ждал — этой самой строки...

Торчала строка, как сухое жнивье,
Шуршала опавшей листвою...
Но Ангел стоял за плечом у Нее
И скорбно кивал головой.

ЗАНЯЛИСЬ ПОЖАРЫ

Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.

Анна Ахматова. «Июль 1914»

Отравленный ветер гудит и дурит
Которые сутки подряд.
А мы утешаем своих Маргарит,
Что рукописи не горят!
А мы утешаем своих Маргарит,
Что — просто — земля под ногами горит,
Горят и дымятся болота —
И это не наша забота!

Такое уж время — весна не красна,
И право же, просто смешно,
Как «опер» в саду забивает «козла»
И смотрит на наше окно,
Где даже и утром темно.
А «опер» усердно играет в «козла»,
Он вовсе не держит за пазухой зла,
Ему нам вредить неохота,
А просто — такая работа.

А наше окно на втором этаже,
А наша судьба на виду...
И все это было когда-то уже,
В таком же кромешном году!
Вот так же, за чаем, сидела семья,
Вот так же дымилась и тлела земля,
И гость, опьяненный пожаром,
Пророчил, что это недаром!

Пророчу и я, что земля неспроста
Кряхтит, словно взорванный лед,
И в небе серебряной тенью креста
Недвижно висит самолет.
А наше окно на втором этаже,
А наша судьба на крутом рубеже,
И даже для этой эпохи —
Дела наши здорово плохи!

А что до пожаров — гаси не гаси,
Кляни окаянное лето —
Уж если пошло полыхать на Руси,
То даром не кончится это!

Усни, Маргарита, за прялкой своей,
А я — отдохнуть бы и рад,
Но стелется дым, и дурит суховей,
И рукописи горят.
И «опер», смешав на столе домино,
Глядит на часы и на наше окно.
Он, брови нахмурив густые,
Партнеров берет в понятия.

И черные кости лежат на столе.
И кошка крадется по черной земле
На вежливых сумрачных лапах.
И мне уже дверь не успеть запереть,
Чтоб книги попрыгать и воду согреть.
И смыть керосиновый запах!

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ИТАКУ

Памяти О. Э. Мандельштама

...В квартире, где он жил, находились он, Надежда Яковлевна и Анна Андреевна Ахматова, которая приехала его навестить из Ленинграда. И вот они сидели все вместе, пока длился обыск до утра, и пока шел этот обыск, за стеною, тоже до утра, у соседа их, Кирсанова, ничего не знавшего об обыске, запускали пластинки с модной в ту пору гавайской гитарой...

И только и света,
Что в звездной, колючей неправде.
А жизнь промелькнет
Театрального капора пеной.
И некому молвить
Из табора улицы темной...

О. Мандельштам

Всю ночь за стеной ворковала гитара.
Сосед-прощелыга крутил юбилей.
А два понятых, словно два санитара,
А два понятых, словно два санитара,
Зевая, томилась у черных дверей.

И жирные пальцы, с неспешной заботой,
Кромешной своей занимались работой.
И две королевы глядели в молчаньи,
Как пальцы копались в бумажном мочале.

Как жирно листали за книжкой книжку,
А сам-то король — все бочком,
да вприпрыжку.
Чтоб взглядом не выдать — не та ли
страница.
Чтоб рядом не видеть безглазые лица!

А пальцы искали крамолу, крамолу...
А там, за стеной все гоняли «Рамону»:
«Рамона! Какой простор вокруг, взгляни.
Рамона! И в целом мире мы одни».

«...А жизнь промелькнет
Театрального капора пеной...»

И глядя, как пальцы шуруют в обивке,
Вольно ж тебе было, он думал, вольно!
Глотай своего якобинства опивки!
Глотай своего якобинства опивки!
Не уксус еще, но уже не вино.

Щелкунчик-скворец, простофиля-Емеля.
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?!
На что ты истратил свои золотые?!
И скушно следили за ним понятия...

А две королевы бездарно курили
И тоже казнили себя и корили —
За лень, за небрежный кивок на вокзале.
За все, что ему второпях не сказали...

А пальцы копались и рвалась бумага...
И пел за стеной тенорок-бедолага:
«Рамона! Моя любовь, мои мечты.
Рамона! Везде и всюду только ты...»

«...И только и света,
Что в звездной, колючей неправде...»

По улице черной, за вороном черным,
За этой каретой, где окна крестом,
Я буду метаться в дозоре почетном,
Я буду метаться в дозоре почетном,
Пока, обессилив, не рухну пластом!

Но слово останется, слово осталось!
Не к слову, а к сердцу приходит усталость.
И хочешь, не хочешь — слезай с карусели.
И хочешь, не хочешь — конец одиссеи!

Но нас не помчат паруса на Итаку:
В наш век на Итаку везут по этапу.
Везут Одиссея в телячьем вагоне.
Где только и счастья, что нету погони!

Где, выпив «ханжи», на потеху вагону,
Блатарь-одессит распевает «Рамону»:
«Рамона! Ты слышишь ветра нежный зов.
Рамона! Ведь это песня любви без слов...»

«...И некому, некому,
Некому молвить
Из табора улицы темной...»

ПАМЯТИ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

«...Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшей 30 мая сего года, на 71-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного.»

Единственное появившееся в газетах, вернее, в одной — «Литературной газете» — сообщение о смерти Б. Л. Пастернака.

Разобрали венки на веники,
На полчаса погрустнели...
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!

И терзали Шопена лабухи.
И торжественно шло прощанье...
Он не мылил петли в Елабуге
И с ума не сходил в Сучане!

Даже киевские «письмэнники»
На поминки его поспели!..
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!

И не то чтобы с чем-то з́а-сорок.
Ровно семьдесят — возраст смертный,
И не просто какой-то пасынок,
Член Литфонда — усопший, сметный!

Ах, осыпались лапы елочки,
Отзвенели его метели...
До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели!

«Мело, мело по всей земле, во все пределы.
Свеча горела на столе, свеча горела...»

Нет, никакая не свеча,
Горела люстра!
Очки на морде палача
Сверкали шустро!

А зал зевал, а зал скучал —
Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
Не к «высшей мере»!

И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу —
Голосованьем.

И кто-то спяну вопрошал:
«За что, кого там?»
И кто-то жрал, и кто-то ржал
Над анекдотом...

Мы не забудем этот смех
И эту скуку!
Мы поименно вспомним всех,
Кто поднял руку!

«Гул затих. Я вышел на подмости,
Прислонясь к дверному косяку...»

Вот и стихли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул...
А над гробом встали мародеры
И несут почетный...

Ка-ра-ул!

Умеренно скоро

Ра - зо - бра - ли вен - ки на
 ве - ни - ки, на пол - ча - си - ка по - груст - не - ли... Как гор -
 - дим - ся мы, со - вре - мен - ни - ки, что он
 у - мер в сво - ей пос - те - ли! И тер -
 - за - ли Шо - пе - на ла - бу - хи, и тор -
 то, что - бы с чем - то за со - рок, ров - но
 - жест - вен - но шло про - шань - е... Он не
 семь - де - сят - воз - раст смерт - ный, и не
 мы - лил пет - ли в Е - ла - бу - ге и с у -
 прос - то ка - кой - то па - сы - нок, член Лит -
 - ма не схо - дил в Су - ча - не Да - же
 - фон - да - у - соп - ший, смет - ный. Ах, о -

F#m Hm

- ки - ев - ски - е «пись - мен - ни - ки» на по -
- сы - па - лись ла - пы е - ло - чь - и, от - зве -

F#m Hm

- мин - ки е - го по - спе - ли. Как гор -
- не - ли е - го ме - те - ли. До че -

F#m Hm

- дим - ся мы, со - вре - мен - ни - ки, что он
- го ж мы гор - дим - ся, сво - ло - чи, что он

F#m Hm

у - мер в сво - ей пос - те - ли! И не //
у - мер в сво - ей пос -

¹² Hm **Не спеша**

- те - ли! «Ме - ло, ме - ло по всей зем -

A7 D Hm

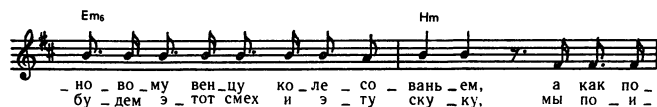
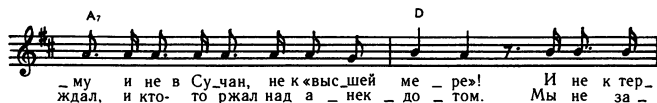
- ле, во все пре - де - лы. Све - ча го - ре - ла на сто -

A7 D **Скоро**

- ле, све - ча го - ре - ла...» Нет, ни - ка -

Hm E6

- ка - я не све - ча - го - ре - ла люст - ра! Оч - ки на



F# Hm



слов_но взят у веч_но_сти от_гул. ...А над

Em



гро_бом вста_ли ма_ро_де_ры

F# Hm



и не_сут по_чет_ный... Ка_ра_ул!

ПАМЯТИ ЖИВАГО

Посвящается О. Ивинской

«Два вола, впряженные в арбу, медленно подымались на крутой холм. Несколько грузин сопровождали арбу. „Откуда вы?“ — спросил я их. — „Из Тегерана“. — „Что везете?“ — „Грибоеда“.

А. Пушкин. «Путешествие в Арзрум»

Опять над Москвою пожары,
И грязная наледь в крови.
И это уже не татары,
Похуже Мамаю — свои!

В предчувствии гибели низкой
Октябрь разыгрался с утра,
Цепочкой, по Малой Никитской
Прорваться хотят юнкера.

Не надо, оставьте, отставить!
Мы загодя знаем итог!
А снегу придется растаять
И с кровью уплыть в водосток.

Но катится снова и снова
— Ура! — сквозь глухую пальбу.
И челка московского сноба
Под выстрелы пляшет на лбу!

Из окон, ворот, подворотен
Глядит, притаясь, дребедень.
А суть мы потом наворотим
И тень наведем на плетень!

И станет далекое близким,
И кровь притворится водой,
Когда по Ямским и Грузинским
Покой обернется бедой!

И станет преступное дерзким,
И будет обидно, хоть плачь,
Когда протрусит Камергерским
В испарине страха лихач!

Свернет на Тверскую к Страстному,
Трясаясь, матерясь и дрожа,
И это положат в основу
Рассказа о днях мятежа.

А ты до беспамятства рада,
У Иверской купишь цветы,
Сидельцев Охотного ряда
Поздравишь с победою ты.

Ты скажешь — пахнуло озоном,
Трудящимся дали права!
И город малиновым звоном
Ответит на эти слова.

О, Боже мой, Боже мой, Боже!
Кто выдумал эту игру!
И снова погода, похоже,
Испортиться хочет к утру.

Предвестьем Всевышнего гнева
Посыплется с неба крупа,
У церкви Бориса и Глеба
Сойдется в молчаньи толпа.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Посвящается Р. Бенъаш

Вот пришли и ко мне седины,
Распеваётся воронье.
«Не судите, да не судимы...» —
Заклинает меня вранье.

Ах, забвенья глоток студеный,
Как легко ты напомнимь мне,
Как роскошный герой — Буденный —
На роскошном скакал коне.

Так давайте ж, друзья, утроим
Наших сил золотой запас.
«Нас не трогай, и мы не тронем...» —
Это пели мы! И не раз!..

«Не судите!»
Смирней, чем Авель,
Падай в ноги за хлеб и кров.
Ну, писал так какой-то Бабель,
И не стало его — делов!

«Не судите!»
И нет мерила,
Все дозволено, кроме слов...
Ну, какая-то там Марина
Захлебнулась в петле — делов!

«Не судите!»
Малюйте зори,
Забивайте своих козлов...
Ну какой-то там «чайник» в зоне
Все о Федре кричал — делов!

— Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре...
...Он не увидит знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре!

Пребывая в туманной черноте,
Обращаюсь с мольбой к историку —
От великой своей учености
Удели мне хотя бы толику,

Я ж пути не ищу раскольного,
Я готов шагать по законному!
Успокой меня, неспокойного,
Растолкуй ты мне, бестолковому!

А историк мне отвечает:
«Я другой такой страны не знаю...»

Будьте ж счастливы, голосуйте,
Маршируйте к плечу плечом,
Те, кто выбраны, те и судьи.
Посторонним вход воспрещен!

Ах, как быстро, несусветимо
Дни пошли нам виски сидеть.
«Не судите, да не судимы...»
Так вот, значит, и не судить?

Так вот, значит, и спать спокойно?
Опускать пятаки в метро?!
А судить и рядить — на кой нам?
«Нас не трогай, и мы не тро...»

Нет! Презренна по самой сути
Эта формула бытия!
Те, кто выбраны, те и судьи?!
Я не выбран. Но я — судья!

ПОЕЗД

Памяти С. М. Михоэлса

Ни гневом, ни порицаньем
Давно уж мы не бряцаем:
Здороваемся с подлецами,
Раскланиваемся с полицаем.

Не рвемся ни в бой, ни в поиск —
Все праведно, все душевно.
Но помни — отходит поезд,
Ты слышишь? Уходит поезд
Сегодня и ежедневно.

А мы балагурим, а мы куролесим,
Нам недругов лесть, как вода из колодца!
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам
Колеса, колеса, колеса, колеса...

Такой у нас нрав спокойный,
Что без никаких стараний
Нам кажется путь окольный
Кратчайшим из расстояний.

Оплачен страховки полис,
Готовит обед царевна...
Но помни — отходит поезд,
Ты слышишь?! — Уходит поезд
Сегодня и ежедневно.

Мы пол отцикливаем, мы шторы повесим,
Чтоб нашему раю — ни краю, ни сноса.
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам
Колеса, колеса, колеса, колеса...

От скорости века в сонности
Живем мы, в живых не значась...
Непротивление совести —
Удобнейшее из чудачеств.

И только порой под сердцем
Кольнет тоскливо и гневно —
Уходит наш поезд в Освенцим.
Наш поезд уходит в Освенцим
Сегодня и ежедневно!

А как наши судьбы — как будто похожи —
И на гору вместе, и вместе с откоса!
Но вечно — по рельсам, по сердцу, по коже —
Колеса, колеса, колеса, колеса!

ПСАЛОМ

Посвящается Б. Чичибабину

Я вышел на поиски Бога.
В предгорьи уже рассвело.
А нужно мне было немного —
Две пригоршни глины всего.

И с гор я спустился в долину,
Развел над рекою костер
И красную вязкую глину
В ладонях размял и растер.

Что знал я в ту пору о Боге
На ранней заре бытия?
Я вылепил руки и ноги,
И голову вылепил я.

И, полон предчувствием смутным,
Мечтал я при свете огня,
Что будет Он добрым и мудрым,
Что Он пожалеет меня.

Когда ж он померк, этот длинный
День страхов, надежд и скорбей —
Мой бог, сотворенный из глины,
Сказал мне:

«Иди и убей».

И канули годы.

И снова —
Все так же, но только грубей,
Мой бог, сотворенный из слова,

Твердил мне:

«Иди и убей».

И шел я дорогою праха,
Мне в платье впивался репей,
И бог, сотворенный из страха,
Шептал мне:

«Иди и убей!»

И вновь я печально и строго
С утра выхожу за порог —
На поиски доброго Бога
И — ах, да поможет мне Бог!

МЫ НЕ ХУЖЕ ГОРАЦИЯ

Вы такие нестерпимо ражие
И такие, в сущности, примерные,
Все томят вас бури вернисажные,
Все шатают паводки премьерные.
Ходите, тишайшие, в неистовых,
Феями цензурными заняньканы!
Ну, а если — ни премьер, ни выставок,
Десять метров комната в Останкино? —

Где улыбкой стражники-наставники
Не сияют благостно и святочно,
Но стоит картина на подрамнике,
Вот и все!
 А этого достаточно!
 Там стоит картина на подрамнике —
 Этого достаточно!

Осудив и совесть и бесстрашие,
Вроде не заложишь и не купишь их,
Ах, как вы присутствуете, ражие,
По карманам рассовавши кукиши!

Что ж, зовите небылицы былями,
Окликайте стражников по имени!
Бродят между ражими Добрынями
Тунеядцы Несторы и Пимены.
Их имен с эстрад не рассиропили,
В супер их не тискают облаточный,
«Эрика» берет четыре копии,
Вот и все!

А этого достаточно!
Пусть пока всего четыре копии —
Этого достаточно!

Время сеет ветры, мечет молнии,
Создает советы и комиссии,
Что ни день — фанфарное безмолвие
Славит многодумное безмыслие.
Бродит Кривда с полосы на полосу,
Делится с соседской Кривдой опытом,
Но гремит напетое вполголоса,
Но гудит прочитанное шепотом.
Ни партера нет, ни лож, ни яруса,
Клака не безумствует припадочно,
Есть магнитофон системы «Яуза»,
Вот и все!

А этого достаточно!

Есть, стоит картина на подрамнике!
Есть, отстукано четыре копии!
Есть, магнитофон системы «Яуза»!
И этого достаточно!

Подвижно

Am Dm
Вы та_ки _ е не _ стер_пи_мо ра _ жи _ е

G7 C
и та_ки _ е, в сущ_но _ сти, при _ мер _ ны _ е,

Am Dm6
все то_мят вас бу _ ри вер_ни _ саж_ны _ е,

все ша_та_ют па_вод_ки премь_ер_ны_е.

Хо_ди_те, ти_шай_ши_е, в не_ис_то_вых,

фе_я_ми цен_зур_ны_ми за_нянь_ка_ны!

Ну, а ес_ли_ни премь_ер, ни вы_ста_вок,

де_сять мет_ров ком_на_та в Ос_тан_ки_но? —

Где у_лыб_кой страж_ни_ки_нас_тав_ни_ки

не си_я_ют бла_гост_но и свя_точ_но,

Для повторения

но сто_ит кар_ти_на на под_рам_ни_ке,

вот и все! А э_то_го до_ста_точ_но!

Г₇ Для окончания С



Есть, сто-ит кар-ти-на на под-рам-ни-ке!

Г₇ С



Есть, от-сту-ка-ны че-ты-ре ко-пи-и!

Am Dm⁶



Есть, маг-ни-то-фон сис-те-мы «Я-у-за»!

Е₇ Am



Э-то-го до-ста-точ-но!

УХОДЯТ ДРУЗЬЯ

Памяти Фриды Вигдоровой

На последней странице газет печатаются
объявления о смерти, а на первых — ста-
тьи, сообщения и покаянные письма.

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни — в никуда, а другие — в князя...
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни,
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

Не спешите сообщить по секрету:
Я не верю вам, не верю, не верю!
Но приносят на рассвете газету,
И газета подтверждает потерю.

Знать бы загодя, кого сторониться,
А кому была улыбка — причастьем!
Есть уходят — на последней странице,
Но которые на первые — те чаще...

Уходят, уходят, уходят друзья,
Какю одному, а другому — стезя.
Такой по столетию ветер гудит,
Что косит своих и чужих не щадит,
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

Мы мечтали о морях-океанах,
Собирались прямиком на Гавайи!
И, как спятивший трубач, спозаранок
Уцелевших я друзей созываю.

Я на ощупь, и на вкус, и по весу
Учиняю им поверку, но вскоре
Вновь приносят мне газету-повестку
К отбыванию повинности горя.

Уходят, уходят, уходят друзья!
Уходят, как в ночь эскадрон на рысях,
Им право — не право, им совесть — пустяк,
Одни наплюют, а другие простят!
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

И когда потеря громом крушенья
Оглушила, полоснула по сердцу,
Не спешите сообщить в утешенье,
Что немало есть потерь по соседству.

Не дарите мне беду, словно сдачу,
Словно сдачу, словно гривенник стертый!
Я ведь все равно по мертвым не плачу —
Я ж не знаю, кто живой, а кто мертвый.

Уходят, уходят, уходят друзья —
Одни — в никуда, а другие — в князья...
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни,
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья...

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ



ПРОЩАНИЕ С ГИТАРОЙ

(Подражание Аполлону Григорьеву)

«...Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ах, как скушно мне с тобой, моя душечка».

Осенняя, простудная,
Печальная пора,
Гитара семиструнная,
Ни пуха, ни пера!
Ты с виду — тонкорунная,
На слух — ворожея,
Подруга семиструнная,
Прелестница моя!
Ах, как ты пела смолоду,
Вся музыка и статья,
Что трудно было голову
С тобой не потерять!

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ах, как плыла голова, моя душечка!

Когда ж ты стала каяться
В преклонные лета,
И статья не та, красавица,
И музыка не та!
Все в говорок про странствия,
Про ночи у костра,
Была б, мол, только санкция,
Романтики сестра.
Романтика, романтика
Небесных колеров!
Нехитрая грамматика
Небитых школяров.

Чиби́ряк, чиби́ряк, чиби́ряшечка,
Ах, как скушно мне с тобой, моя душечка!

И вот, как дождь по луночке,
Который год подряд,
Все на одной на струночке,
А шесть других молчат.
И лишь затем без просыпа
Разыгрываешь страсть,
Что, может, та, курносая,
«Послушает и даст»...
Так и живешь, бездумная,
В приятности примет,
Гитара однострунная —
Полезный инструмент.

Чиби́ряк, чиби́ряк, чиби́ряшечка,
Ах, не совестно ль тебе, моя душечка!

Плевать, что стала курвою,
Что стать под стать блядям,
Зато номенклатурная,
Зато нужна людям!
А что души касается,
Про то забыть пора.
Ну что ж, прощай, красавица!
Ни пуха, ни пера!

Чиби́ряк, чиби́ряк, чиби́ряшечка,
Что ж, ни пуха, ни пера, моя душечка!

СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО

Когда собьет меня машина,
Сержант напишет протокол,
И представительный мужчина...
И представительный мужчина
Тот протокол положит в стол.

Другой мужчина — ниже чином,
Взяв у начальства протокол,
Прочтет его в молчаньи чинном...
Прочтет его в молчаньи чинном
И пододвинет дырокол!

И, продырявив лист по краю,
Он скажет: «Счастья в мире нет —
Покойник пел, а я играю...
Покойник пел, а я играю,—
Могли б составить с ним дуэт!»

ПЕСНЯ О СИНЕЙ ПТИЦЕ

— Угостите! — попросил он, подъезжая на тележке, и мы сунули ему кружку пива куда-то вниз.

...Был я глупый тогда и сильный,
Все мечтал я о Птице Синей!
А нашел ее синий след —
Заработал пятнадцать лет!
 Было время — за синий цвет
 Получали пятнадцать лет!

Не солдатами — номерами —
Помирали мы, помирали!
От Караганды по Нарым —
Вся земля, как один нарыв!
Воркута, Инта, Магадан —
Кто вам жребий тот нагадал?!
То вас шмон трясет, а то цинга,
И чуть не треть зэка из ЦК!
 Было время — за красный цвет
 Добавляли по десять лет!

А когда пошли миром грозы,
Мужики — на фронт, бабы — в слезы!
В желтом мареве горизонт,
А нас из лагеря да на фронт!
Севастополь, Курск, город Брест...
Нам слепил глаза желтый блеск!
А как желтый цвет стал белеть,
Стали глазоньки столбенеть!
 Ох, сгубил ты нас, желтый цвет!
 Мы на свет глядим, а света нет!

ЛЕНОЧКА

Апрельской ночью Леночка
Стояла на посту.
Красоточка, шатеночка
Стояла на посту.
Прекрасная и гордая,
Заметна за версту,
У выезда из города
Стояла на посту.

Судьба милиционерская —
Ругайся цельный день,
Хоть скромная, хоть дерзкая —
Ругайся цельный день.
Гулять бы ей с подругами
И нюхать бы сирень!
А надо с шоферами
Ругаться цельный день.

Итак, стояла Леночка,
Милиции сержант,
Останкинская девочка,
Милиции сержант.
Иной снимает пеночки,
Любому свой талант,
А Леночка, а Леночка —
Милиции сержант.

Как вдруг она заметила —
Огни летят, огни,

К Москве из Шереметьева
Огни летят, огни.
Ревут сирены зычные,
Прохожий — ни-ни-ни!
На Лену заграничные
Огни летят, огни!

Дает отмашку Леночка,
А ручка не дрожит,
Чуть-чуть дрожит коленочка,
А ручка не дрожит.
Машины, чай, не в шашечку,
Колеса — вжик да вжик!
Дает она отмашечку,
А ручка не дрожит.

Как вдруг машина главная
Свой замедляет ход,
Хоть и была исправная,
Но замедляет ход.
Вокруг охрана стеночкой
Из КГБ, но вот
Машина рядом с Леночкой
Свой замедляет ход.

А в той машине писанный
Красавец-эфиоп,
Глядит на Лену пристально
Красавец-эфиоп.
И встав с подушки кремовой,
Не промахнуться чтоб,
Бросает хризантему ей
Красавец-эфиоп!

А утром мчится нарочный
ЦК КПСС

В мотоциклетке марочной
ЦК КПСС.
Он машет Лене шляпою,
Спешит наперерез:
«Пожалте, Л. Потапова,
В ЦК КПСС!»

А там, на Старой площади,
Тот самый эфиоп,
Он принимает почести,
Тот самый эфиоп,
Он чинно благодарствует
И трет ладонью лоб,
Поскольку званья царского
Тот самый эфиоп!

Уж свита водки выпила,
А он глядит на дверь,
Сидит с моделью вымпела
И все глядит на дверь.
Все потчуют союзника,
А он сопит, как зверь...
Но тут раздалась музыка
И отворилась дверь!

Вся в тюле и панбархате
В зал Леночка вошла,
Все прямо так и ахнули,
Когда она вошла.
И сам красавец царственный,
Ахмед Али Паша
Воскликнул: «Вот так здравствуйте!»
Когда она вошла.

И вскоре нашу Леночку
Узнал весь белый свет,

Останкинскую девочку
Узнал весь белый свет —
Когда, покончив с папою,
Стал шахом принц Ахмед,
Шахиню Л. Потапову
Узнал весь белый свет!

ВАЛЬС-БАЛЛАДА ПРО Тещу ИЗ ИВАНОВА

Ох, ему и всыпали по первое,
По дерьму, спеленутого, волоком!
Праведные суки, брызжа пеною,
Обзывали жуликом и Поллаком!

Раздавались выкрики и выпады,
Ставились искусно многоточия,
А в конце, как водится, оргвыводы —
Мастерская, дóговор и прочее...

Он припер вещички в гололедицу
(Все в один упрятал узел драненький)
И свалил их в узел, как поленницу —
И холсты, и краски, и подрамники...

Томка вмиг слетала за «кубанскою»,
То да сё, яичко, два творожничка...
Он грамм сто принял, заел колбаскою
И сказал, что полежит немножечко.

Выгреб тайно из пальтишка рваного
Нембутал, прикопленный заранее...
А на кухне теща из Иванова,
Ксенья Павловна, вела дознание.

За окошком ветер мял акацию,
Билось чье-то сизое исподнее...
— А за что ж его? — Да за абстракцию.
— Это ж надо! А трезвону подняли!

Он откуда родом? — Он из Рыбинска.
— Что рисует? — Все натуру разную.
— Сам еврей? — А что? — Сиди не рыпайся!
Вон у Ритки без ноги, да с язвою...

Курит много? — В день полпачки «Севера».
— Риткин, дьявол, курит вроде некрута,
А у них еще по лавкам семеро...
Хорошо живете? — Лучше некуда!..

— Риткин, что ни вечер, то с приятелем,
Заимела, дура, в доме ворога...
Значит, окаянный твой с понятием:
В день полпачки «Севера» — недорого.

— Пить-то пьет? — Как все, по воскресениям!
— Риткин пьет, вся рожа окарябана!
...Помолчали, хрустнуло печение,
И, вздохнув, сказала теща Ксения:
— Ладно уж, прокормим окаянного...

ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Она вещи собрала, сказала тоненько:
«А что ты Тоньку полюбил, так бог с ней,
с Тонькою!

Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми,
А что у папы у ее топтун под окнами,
А что у папы у ее дача в Павшине,
А что у папы холуи с секретаршами,
А что у папы у ее пайки цековские
И по праздникам кино с Целиковскою!
А что Тонька-то твоя сильно страшная —
Ты не слушай меня, я вчерашняя!
И с доскою будешь спать со стиральной
За машину за его персональную...

Вот чего ты захотел, и знаешь сам,
Знаешь сам, но стесняешься.
Про любовь твердишь, про доверие,
Про высокие про материи...
А в глазах-то у тебя дача в Павшине,
Холуи да топтуны с секретаршами.
И как вы смотрите кино всей семейкою,
И как счастье на губах — карамелькою...»

Я живу теперь в дому — чаша полная.
Даже брюки у меня — и те на молнии,
А вина у нас в дому — как из кладезя,
А сортир у нас в дому — восемь на десять.
А папаша приезжает сам к полуночи,
Топтуны да холуи тут все по струночке!
Я папаше подношу двести граммчиков,
Сообщаю анекдот про абрамчиков!

А как спать ложусь в кровать с дурой —
с Тонькою,

Вспоминаю той, другой, голос тоненький,
Ух, характер у нее — прямо бешеный,
Я звоню ей, а она трубку вешает...

Отвези ж ты меня, шеф, в Останкино,
В Останкино, где «Титан» кино,
Там работает она билетершею,
На дверях стоит вся замерзшая,
Вся замерзшая, вся продрогшая,
Но любовь свою превозмогшая,
Вся иззябшая, вся простывшая,
Но не предавшая и не простившая!

Подвижно

Am

А о-на ве-щи соб-ра-ла, ска-за-ла
Тонь-ка-то тво-я силь-но

Dm E7

то-нень-ко «А что ты Тонь-ку по-лю-бил, так бог с ней,
страш-на-я ты не слу-шай ме-ня, я вче-

Am

с Тонь-ко-ю! Те-бя ж не Тонь-ка зав-лек-ла гу-ба-ми
-раш-ня-я! И с дос-ко-ю бу-дешь спать со сти-

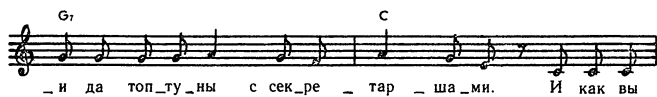
Dm E7

мок-ры-ми, а что у па-пы у е-е топ-тун под
-раль-но-ю за ма-ши-ну за е-го пер-со-

Am

ок-на-ми, а что у па-пы у е-е да-ча

в Пав _ ши _ не, а что у па _ пы хо _ лу _ и с сек _ ре _
 Dm Dm6
 _ тар _ ша _ ми, а что у па _ пы у е _ е пай_ки це _
 E7
 _ ков _ ски _ е, и по празд _ ни_кам ки _ но с Це_ли _
 Am Am
 _ ков _ ско _ ю! А что // _ наль _ ну _ ю. Вот че _
 Am Dm
 _ го ты за _ хо _ тел и зна _ ешь сам,
 G7 C
 зна _ ешь сам, но стес _ ня _ ешь_ся. Про лю _
 Am Dm
 _ бовь твер_дишь, про до _ ве _ ри _ е, про вы _
 E7 Am
 _ со _ ки _ е про ма _ те _ ри _ и. А в гла _
 Dm
 _ зах_ то у те_бя да_ча в Пав _ ши _ не, хо_лу _



НОВОГОДНЯЯ ФАНТАСМАГОРИЯ

В новогодний бедлам, как в обрыв на крутом
вираже,
Все еще только входят, а свечи погасли уже.
И лежит в сельдерее убитый кухонным ножом
Поросенок с бумажною розой, покойник-пижон.
А полковник-пижон, что того поросенка принес,
Открывает «Боржом» и целует хозяйку в засос.
Он совсем разнуздан, подлец, он отбился
от рук.

И следят за полковником три кандидата наук.

А хозяйка мила, а хозяйка чертовски мила.
И уже за столом, как положено, куча мала.
И уже кто-то ест, кто-то пьет, кто-то ждет,
что ему подмигнут.
И полковник надрался, как маршал, за десять
минут.
Над его головой произносят заздравную речь
И суют мне гитару, чтоб общество песней
развлечь.

Ну, помилуйте, братцы, какие тут песни, пока
Не допили еще, не доели цыпят табака.

Вон полковник желает исполнить романс
«Журавли»,
Но его кандидаты куда-то поспать увели.
И опять кто-то ест, кто-то пьет, кто-то
плачет навзрыд.
«Что за праздник без песни,— опять мне
сосед говорит,—

Я хотел бы от имени всех попросить,
Не могли б вы, товарищ, нам что-нибудь
изобразить».

И тогда я улягусь на стол на торжественный тот
И бумажную розу засуну в оскаленный рот,

И под чей-то напутственный возглас в дыму и
жаре

Поплыву, потеку, потону в поросячем желе.
Это будет смешно, это вызовет хохот до слез,
И хозяйка лизнет меня в нос, как
признательный пес.

И полковник, проспавшись, возьмется опять
за свое

И, отрезав мне ногу, протянет хозяйке ее.
А за окнами снег, а за окнами белый мороз.
Там бредет одноногая тень мимо белых берез.

Мимо белых берез и по белому снегу и прочь —
В петроградскую ночь, прямо в белую давнюю
ночь.

В ночь, когда по скрипучему снегу в трескучий
мороз
Не пришел, а ушел, мы потом это поняли, белый
Христос.

И поземка, следы заметая, мела и мела...
А хозяйка мила, а хозяйка чертовски мила.

Зазвонил телефон, и хозяйка махнула рукой:
«Подождите, не ешьте, оставьте кусочек-другой».
И уже в телефон, отгоняя ладошкой дым:
«Приезжайте скорей, а не то мы его доедим!»
И опять все смеются, смеются, смеются
до слез...

А за окнами снег, а за окнами белый мороз.
Там бредет моя белая тень мимо белых берез.

Свободно

Em

(1.) В но_во_ - год_ний бед_лам, как в об_рыв на кру_ (2.3 4.)

Hm Em

_ том ви_ра_же, все е_ще толь_ко вхо_дят, а све_чи по_

Hm Em

_ гас_ли у_же. И ле_жит в сель_де_ре_е у_би_тый ку_

Am Hу

_ хон_ным но_жом по_ро_се_нок с бу_маж_но_ю ро_зой, по_

Em

_ кой_ник_пи_жон. А пол_ков_ник_пи_жон, что_то_го по_ро_

Hm Em

_ сен_ка при_нес, от_кры_ва_ет «Бор_жом» и це_лу_ет хо_

Hm D

_ зяй_ку вза_сос. Он со_всем раз_гу_лял_ся, под_лец, он от_

G Em

_ бил_ся от рук. И сле_дят за пол_ков_ни_ком три кан_ди_

1.2.3.4

H₇ *Em* *H₇* *Em*

да та на ук. (2.) А хо // белых без. (5.) Ми мо

H₇ *Em*

белых без и по белому снегу и прочь — в петро

H₇ *Em*

градскую ночь, прямо в белую давнюю ночь. В ночь, ког

Am *D* *G*

да по скрипучему снегу в трескучий мороз не при

Em *Am* *H₇* *Em*

шел, а ушел, мы потом этого поняли, белый Христос. И по

H₇ *Em*

земка, следы заметая, мела и мела... А хо

H₇ *Em*

зьяка мила, а хозьяка чертовски мила. 6. За зво

D *G*

нил телефон, и хозьяка махнула рукой: «По до

Em 3 3 3 D G

— жди_те, не ешь_те, о_ставь_те ку_со_чек_ дру_гой» И у_

Em 3 3 3 Am 3

— же в те_ле_фон, от_го_ня_я ла_дош_ко_ю дым' <При_ез_

H7 3 3 Em

— жай_те ско_рей, а не то мы е_го до_е_дим!» И о_

Am 3 3 3 D G

— пять все сме_ют_ся, сме_ют_ся, сме_ют_ся до слез А за

Em 3 3 3 H7 3 Em *замедляя*

ок_на_ми снег, а за ок_на_ми бе_лый мо_роз Там бре_

H7 3 Em

— дет мо_я бе_ла_я тень ми_мо бе_лых бе_рез

КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать?
Вот стою я перед вами, словно голенький.
Да, я с Нинудькою гулял с тетипашиной,
И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники.

Поясок ей подарил поролоновый
И в палату с ней ходил, в Грановитую,
А жена моя, товарищ Парамонова,
В это время находилась за границею.

А вернулась — ей привет! — анонимочка,
Фотоснимок, а на нем — я да Ниночка!
Просыпаюсь утром — нет моей кисочки,
Ни вещичек ее нет, ни записочки.
Нет как нет,
ну, прямо нет как нет!

Я к ней, в ВЦСПС,— в ноги падаю,
Говорю, что все во мне переломано,
Не сердчай, что я гулял с этой падлюю,
Ты прости меня, товарищ Парамонова!

А она как закричит, вся стала черная:
«Я на слезы на твои — ноль внимания,
И ты мне лазаря не пой, я ученая,
Ты людям все расскажи на собрании!»

И кричит она, дрожит, голос слабенький,
А холуи уж тут как тут, каплют капельки,

И Тамарка Шестопал, и Ванька Дёрганов,
И еще тот референт, что из «органов».

Тут как тут,
ну, прямо тут как тут!

В общем, ладно, прихожу на собрание,
А дело было, как сейчас помню, первого,
Я, конечно, бюллетень взял заранее
И бумажку из диспáнсера нервного.

А Парамонова, гляжу, в новом шарфике,
А как увидела меня, вся стала красная.
У них первый был вопрос — свободу Африке!
А потом уж про меня — в части «разное».

Ну, как про Гану — все в буфет за сардельками,
Я и сам бы взял кило, да плохо с дёньгами.
А как вызвали меня, я свял от робости,
А из зала мне кричат: давай подробности!
Все как есть,
ну, прямо все как есть!

Ой, ну что ж тут говорить, что тут спрашивать?!
Вот стою я перед вами, словно голенький,
Да, я с племянницей гулял с тетипашиной,
И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники.

И в моральном, говорю, моем облике
Есть растленное влияние Запада,
Но живем ведь, говорю, не на облаке,
Это ж только, говорю, соль без запаха!

И на жалость я их брал, и испытывал,
И бумажку, что я псих, им зачитывал.
Ну, поздравили меня с воскресением,
Залепили «строгача с занесением»!

Ой, ой, ой,
ну, прямо ой, ой, ой...

Взял я тут цветов букет покрасивее,
Стал к подъезду номер семь, для начальников.
А Парамонова, как вышла, стала синяя,
Села в «Волгу» без меня и отчалила!

И тогда прямым путем в раздевалку я
И тете Паше говорю, мол, буду вечером.
А она мне говорит: «С аморалкою
Нам, товарищ дорогой, делать нечего!

И племянница моя, Нина Саввовна,
Она думает как раз то же самое,
Она всю свою морковь нынче продала
И домой по месту жительства отбыла.»
Вот те на,
ну, прямо вот те на!

Я иду тогда в райком, шлю записочку,
Мол, прошу принять, по личному делу я,
А у Грошевой как раз моя кисочка,
Как увидела меня, вся стала белая!

И сидим мы у стола с нею рядышком,
И с улыбкою говорит товарищ Грошева:
«Схлопотал он „строгача“, ну и ладушки,
Помиритесь вы теперь по-хорошему.»

И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку,
И пришли мы с ней в «Пекин» рука об руку,
Она выпила «Дюрсо», а я «перцовую»
За советскую семью образцовую!
Вот и все...

Из цикла «ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ КЛИМА ПЕТРОВИЧА
КОЛОМИЙЦЕВА, МАСТЕРА ЦЕХА, КАВАЛЕРА ОРДЕНОВ,
ЧЛЕНА БЮРО ПАРТКОМА, ДЕПУТАТА ГОРСОВЕТА»

1. О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ ВЫСТУПАЛ НА МИТИНГЕ В ЗАЩИТУ МИРА

У жене моей спросите, у Даши,
У сестре ее спросите, у Клавки,
Ну, ни капельки я не был поддавши,
Разве только что — маленько — с поправки!

Я культурно проводил воскресенье,
Я помылся и попарился в баньке,
А к обеду, как сошлась моя семья,
Начались у нас подначки да байки!

Только принял я грамм сто, для почина
(Ну, не более, чем сто, что б я помер!),
Вижу — к дому подъезжает машина,
И гляжу — на ней обкомовский номер!

Ну, я на крылечко — мол, что за гость,
Кого привезли, не чеха ли?!
А там — порученец, чернильный гвоздь,
«Сидай — говорит, — поехали!».

Ну, ежели зовут меня,
То — майна-вира!
В ДК идет заутреня
В защиту мира!
И Первый там, и прочие — из области.

Ну, сажусь я порученцу на ноги.
Он — листок мне,
Я и тут не перечу.
«Ознакомься,— говорит,— по дороге
Со своею выдающейся речью!».

Ладно — мыслю — набивай себе цену,
Я ж в зачтениях мастак, слава Богу!
Приезжаем, прохожу я на сцену
И сажусь со всей культурностью сбоку.

Вот моргает мне, гляжу, председатель:
Мол, скажи свое рабочее слово!
Выхожу я,
И не дробно, как дятел,
А неспешно говорю и сурово:

«Израильская,— говорю,— военщина
Известна всему свету!
Как мать,— говорю,— и как женщина
Требую их к ответу!

Который год я вдовая,
Все счастье — мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщина!..»

Тут отвисла у меня прямо челюсть,
Ведь бывают же такие промашки! —
Этот сучий сын, пижон-порученец,
Перепутал в суматохе бумажки!

И не знаю — продолжать или кончить,
В зале, вроде, ни смешочков, ни вою...

Первый тоже, вижу, рожи не корчит —
А кивает мне своей головою!

Ну, и дал я тут галопом — по фразам,
(Слава Богу, завсегда все и то же!)
А как кончил —
Все захлопали разом,
Первый тоже — лично — сдвинул ладоши.

Опосля зазвал в свою вотчину
И сказал при всем окружении:
«Хорошо, брат, ты им дал, по-рабочему!
Очень верно осветил положение!..»

Такая вот история!

2. ПЛАЧ ДАРЬИ КОЛОМИЙЦЕВОЙ ПО ПОВОДУ ЗАПОЯ ЕЕ СУПРУГА — КЛИМА ПЕТРОВИЧА

...Ой, доля моя жалкая,
Родиться бы слепой!
Такая лета жаркая —
А он пошел в запой.

Вернусь я из магазина,
А он уже, блажной,
Поет про Стеньку Разина
С персидскою княжной.

А жар — ну прямо доменный,
Ну прямо градом пот.
А он, дурак недобенный,
Сидит и водку пьет.

Ну, думаю я, думаю,
Болит от мыслей грудь:
«Не будь ты, Дарья, дурую —
Придумай что-нибудь!»

То охаю, то ахаю —
Спокоя нет как нет!
И вот —
Пошла я к знахарю,
И знахарь дал совет.

И в день воскресный, в утречко,
Я тот совет творю:
Вплываю, словно уточка,
И Климу говорю:

«Вставай, любезный-суженый,
Уважь свой родный дом,
Вставай-давай, поужинай,
Поправься перед сном!»

А что ему до времени?
Ему б нутро мочить!
Он белый свет от темени
Не может отличить!

А я его, как милочка,
Под ручки — под уздцы,
А на столе:
Бутылочка,
Грибочки, огурцы.

Ой, яблочки моченые
С обкомовской икрой,
Стаканчики граненые
С хрустальной игрой,

И ножички, и вилочки —
Гуляйте, караси!
Но только в той бутылочке
Не водка:
Ка-ра-син!

Ну, вынула я пробочку —
Поправься, атаман!
Себе — для вида — стопочку,
Ему — большой стакан.

— Давай, поправься, солнышко,
Давай, залей костер!..

Он выпил все, до доньшка.
И только нос утер.
Грибочек — пальцем — выловил,
Завел туманно взгляд,
Сжевал грибок
И вымолвил:
«Нет, не люблю маслят!»

ПЕСНЯ-БАЛЛАДА ПРО ГЕНЕРАЛЬСКУЮ ДОЧЬ

Посвящается М. Фигнер

«Он был титулярный советник,
Она генеральская дочь...»

Постелилась я, и в печь — уголек...
Накрошила огурцов и мяса,
А он явился, ноги вынул и лег —
У мадам у его — мяса.

А он и рад тому, сучок, он и рад,
Скушал водочки, и в сон наповал!..
А там — в России — где-то есть Ленинград,
А в Ленинграде том — Обводный канал.

А там мамынька жила с папонькой,
Называли меня «лапонькой»,
Не считали меня лишнею,
Да им дали обоим высшую!
Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты угольком даешь на-гора года!
Дала двадцать лет, дала тридцать лет,
А что с чужим живу, так своего-то нет!
Кара-ган-да...

А он, сучок, из голевых шоферов,
Он барыга, и калымщик, и жмот,
Он на торговской дает, будь здоров,—
Где за рупь, а где какую прижмет!

Подвозил он меня раз в «Гастроном»,
Даже слова не сказал, как полез,

Я бы в крик, да на стекле ветровом
Он картиночку приклеил, подлец!

А на картиночке — площадь с садиком,
А перед ней камень с «Медным Всадником»,
А тридцать лет назад я с мамой в том саду...
Ой, не хочу про то, а то я выть пойду!
Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты мать и мачеха, для кого когда,
А для меня была так завсегда нежна,
Что я самой себе стала не нужна!
Кара-ган-да!

Он проснулся, закурил «Беломор»,
Взял пиджак, где у него кошелек.
И прошлепал босиком в коридор,
А вернулся — и обратно залег.

Он сопит, а я сижу у огня,
Режу мелко на водку лучок,
А ведь все-тки он жалеет меня,
Все-тки ходит, все-тки дышит, сучок!

А и спи, пропись ты, мое золотце,
А слезы — что ж, от слез — хлеб не солится,
А что мадам его крутит мордбю,
Так мне плевать на то, я не гордая...
Ой, Караганда, ты, Караганда!
Если тут горда, так и на кой годна!
Хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь,
А что в России есть, так то не хуже здесь!
Кара-ган-да!

Что-то сон нейдет, был, да вышел весь,
А завтра делать дел — прорву адскую!

Завтра с базы нам сельдь должны завезть,
Говорили, что ленинградскую.

Я себе возьму и кой-кому раздам,
Надо ж к празднику подзаправиться!
А пяток сельдей я пошлю мадам,
Пусть покушает, позабавится!

Пусть покушает она, дура жалкая,
Пусть не думает она, что я жадная,
Это, знать, с лучка глазам колется,
Голова на низ чтой-то клонится...
Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты угольком даешь на-гора года,
А на картиночке — площадь с садиком,
А перед ней камень...
Ка-ра-ган-да!

БАЛЛАДА О ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

«...Призрак бродит по Европе,
призрак коммунизма...»

Я научность марксистскую пестовал,
Даже точками в строчке не брезговал.
Запятым по пятам, а не дуриком,
Изучал «Капитал» с «Анти-Дюрингом».
Не стесняясь мужским своим признаком,
Наряжался на праздник призраком,
И повсюду, где устно, где письменно,
Утверждал я, что все это истинно.

От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих,
И пусть я псих, а кто не псих? А вы не псих?

Но недавно случилась история —
Я купил радиолу «Эстония»,
И в свободный часок на полчаса
Я прилег позабавиться классикой.
Ну, гремела та самая опера,
Где Кармен свово бросила «опера»,
И когда открычал Эскамилио,
Вдруг свое я услышал фамилие,

Ну, черт-те что, ну, черт-те что, ну, черт-те что!
Кому смешно, мне не смешно. А вам смешно?

Гражданин, мол, такой-то и далее —
Померла у вас тетка в Фингалии,
И по делу той тети Калерии
Ожидают вас в Инюрколлегии.
Ох, и вскинулся я прямо на дыбы,

Ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы!
Больно тема какая-то склизкая,
Не марксистская, ох, не марксистская!

Ну, прямо срам, ну, прямо срам, ну, стыд и срам!
А я-то сам почти что зам! А вы не зам?

Ну, промаялся ночь, как в холере, я.
Подвела меня, падла, Калерия!
Ну, жена тоже плачет, печалится —
Культ — не культ, а чего не случается?!
Ну, бельишко в портфель, щетку, мыльницу,
Если сразу возьмут, чтоб не мыкаться.
Ну, являюсь, дрожу аж по потрохи,
А они меня чуть что не под руки.

И смех и шум, и смех и шум, и смех и шум!
А я стою — и ни бум-бум. А вы — бум-бум?!

Первым делом у нас — совещание,
Зачитали мне вслух завещание —
Мол, такая-то, имя и отчество,
В трезвой памяти, все честью по чести,
Завещаю, мол, землю и фабрику
Не супругу, засранцу и бабнику,
А родной мой племянник Володечка
Пусть владеет всем тем на здоровьечко!

Вот это да! вот это да! вот это да!
Выходит так, что мне туда! А вам куда?

Ну, являюсь на службу я в пятницу,
Посылаю начальство я в задницу,
Мол, привет, по добру, по спокойненьку,
Ваши сто мне, как насморк — покойнику!

Пью субботу я, пью воскресенье,
Чуть посплю — и опять в окосение.
Пью за родину, и за не родину,
И за вечную память за тетину,

Ну, пью и пью, а после счет, а после счет,
А мне б не счет, а мне б еще. И вам еще?!

В общем, я за усопшую тетеньку
Пропил с книжки последнюю сотенку,
А как встал, так друзья мои, бражники,
Прямо все, как один, за бумажники:
— Дорогой ты наш, бархатный, саржевый,
Ты не брезговай, Вова, одалживай!
Мол, сочтемся когда-нибудь дружбою,
Мол, пришлешь нам, что будет ненужное.

Ну, если так, то гран-мерси, то гран-мерси,
А я за это всем — джерси. И вам — джерси.

Наодалживал, в общем, до тыщи я,
Я ж отдам, слава богу, не нищий я,
А уж с тыщи-то рад расстараться я —
И пошла ходуном ресторация...
С контрабаса на галстук — басовую!
Не «столичную» пьем, а «особую»,
И какие-то две с перманентиком
Все назвать норовят меня Эдиком.

Гуляем день, гуляем ночь, и снова ночь,
А я не прочь, и вы не прочь, и все не прочь,

С воскресенья и до воскресения
Шло у нас вот такое веселие,
А очухался чуть к понедельнику,
Сел глядеть передачу по телеку,

Сообщает мне дикторша новости
Про успехи в космической области,

А потом: Передаем сообщения из-за границы.
Революция в Фингалии! Первый декрет народной
власти о национализации земель, фабрик, заво-
дов и всех прочих промышленных предприятий.
Народы Советского Союза приветствуют и позд-
равляют братский народ Фингалии со славной
победой!

Я гляжу на экран, как на рвотное,
То есть, как это так, все народное?!
Это ж наше, кричу, с тетей Калею,
Я ж за этим собрался в Фингалию!
Негодяи, кричу, лоботрясы вы!
Это все, я кричу, штучки марксовы!
Ох, нет на свете печальнее повести,
Чем об этой прибавочной стоимости!

А я ж ее — от сих до сих, от сих до сих!
И вот теперь я полный псих! А кто не псих?!

**БАЛЛАДА О СТАРИКАХ И СТАРУХАХ,
С КОТОРЫМИ Я ВМЕСТЕ
ЖИЛ И ЛЕЧИЛСЯ В САНАТОРИИ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ
В 110 КМ ОТ МОСКВЫ**

Все завидовали мне: «Эко денег».
Был загадкой я для старцев и стариц.
Говорили про меня: «Академик!»
Говорили: «Генерал-иностранец!»

О бессонница, снотворных отравы,
Может статься, это вы виноваты,
Что привиделась мне вздорная слава
В полумраке санаторной палаты.

А недуг со мной хитрил поминутно:
То держал, то отпускал на поруки.
И все было мне так странно и трудно,
А труднее всего — были звуки.

Доминошники стучали в запале,
Привалившись к покорябанной пальме.
Старцы в чесанках с галошами спали
Прямо в холле, как в общественной спальне.

Я неслышно проходил. «Англичанин!»
Я козла не забивал. «Академик!»
И звонки мои в Москву обличали:
«Эко денег у него, это денег!»

И казалось мне, что вздор этот вечен,
Неподвижен, словно солнце в зените...

И когда я говорил: «Добрый вечер!»
 Отвечали старики: «Извините».

И кивали, как глухие глухому,
 Улыбались не губами, а краем:
 Мы, мол, вовсе не хотим по-плохому,
 Но как надо, извините, не знаем.

Я твердил им в их мохнатые уши
 В перекурах за сортирную дверью:
 «Я такой же, как и вы, только хуже!»
 И поддакивали старцы, не веря.

И в кино я не ходил. «Ясно, немец!»
 И на танцах не бывал. «Академик!»
 И в палатке я купил чай и перец.—
 «Эко денег у него, эко денег!»

Ну и ладно, и не надо о славе...
 Смерть подарит нам бубенчики славы.
 А живем мы в этом мире послами
 Не имеющей названья державы...

Умеренно быстро

(1) Все за ви до ва ли мне «Э ко
 (8) // _ дил им в их мох на ты е
 де нег!» Был за гад кой я для стар цев и
 у ши в пе ре ку рах за сор тир но ю
 ста риц. го во ри ли про ме ня. «А ка
 дверь ю. кой же, как и вы, толь ко

Gm₆ C₇

— де — мик», го — во — ри — ли «Ге — не — рал — и — но —
ху — же!» И под — да — ки — ва — ли стар — цы, не

F D₇

— стра — нещ». (2.) О бес — сон — ни — ца, сно — твор — ных от —
ве — ря. (9.) И в ки — но (4,6.) я не хо — дил «Яс — но,

Gm C₇

— ра — ва, мо — жет стать — ся, э — то вы ви — но —
не — мец!» И на тан — цах не бы — вал «А — ка —

F Dm

— ва — ты, что при — ви — де — лась мне вздор — на — я
— де — мик!» И в па — лат — ке я ку — пил — чай — и

Gm₆ A₇

сла — ва в по — лу — мра — ке са — на — тор — ной па —
пе — рец. «Э — ко де — нег у не — го, э — ко

Dm

— ла — ты. (3.) А не — дуг со мной хит — рил по — ми —
де — нег!» (5, 7)

Gm C₇

— нут — но, то дер — жал, то от — пус — кал на по —

F Dm

— ру — ки. И все бы — ло мне так стран — но и

труд - но, а все - го труд - ней бы - ли
 зву - ки. (4.) До - ми - // де - нег!» (6.) И ка - //
 зна - ем. (8.) Я твер - // де - нег!» (10.) Ну и
 лад - но, и не на - до о сла - ве - смерть по -
 да - рит нам бу - бен - чи - ки сла - вы А жи -
 _ вем мы в э - том ми - ре пос - ла - ми не - и -
 _ ме - ю - шей наз - вань - я дер - жа - вы...

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Люди, я любил вас — будьте бдительны!

Юлиус Фучик

Я люблю вас — глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали до времени старыми,
Вас, убогих, которых газетные полосы
Что ни день, то бесстыдными славят фанфарами!
Сколько раз вас морочили, мяли, ворочали,
Сколько раз соблазняли соблазнами тщетными...
И как черти вы злы, и как ветер отходчивы,
И — скупцы! — до чего ж вы бываете щедрыми!

Она стоит, печальница
Всех сущих на земле,
Стоит, висит, качается
В автобусной петле.

(А, может, это поручни...
Да, впрочем, всё равно!)
И спать ложилась — к полночи,
И поднялась — темно.

Всю жизнь жила — не охала,
Не крыла белый свет.
Два сына было — сокола,
Обоих нет, как нет.

Один убит под Вислою,
Другого хворь взяла.
Она лишь зубы стиснула
И снова за дела.

А мужа в Потье льдиною
Распутица смела.

Она лишь брови сдвинула —
И снова за дела.

А дочь в больнице с язвою,
А сдуру запил зять...
И, думая про разное,
Билет забыла взять.

И тут один — с авоською
И в шляпе, паразит! —
С ухмылкой со свойскою
Геройски ей грозит!

Он палец указательный
Ей чуть не в нос сует:
Какой, мол, несознательный
Еще, мол, есть народ!

Она хотела высказать:
«Задумалась... прости...»

А он как глянул искоса,
Авоську сжал в горсти,
И на одном дыхании
Сто тысяч слов подряд...

(Чем в шляпе — тем нахальнее,—
Недаром говорят!)

Он с рожею канальскою
Гремит на весь вагон,
Что с кликой, мол, китайскою
Стакнулся Пентагон.

Мы во главе истории,
Нам лупят в лоб шторма.

А есть еще, которые
Всё хотят задарма!

Без нас — конец истории,
Без нас бы мир ослаб!
А есть еще, которые
Всё хотят цап-царап!

Ты, мать, пойми: не важно нам,
Что дурость — твой обман,
Но — фигурально — каждому
Залезла ты в карман!

Пятак — монетка малая,
Ей вся цена — пятак!
Но с неба каша манная
Не падает за так!

Она любому лакома,
На кашу каждый лих!..

И тут она заплакала.
И весь вагон затих.

Стоит она — печальница
Всех сущих на земле,
Стоит, висит, качается
В автобусной петле.

Бегут слезинки скорые,
Стирает их кулак..
И вот вам — вся история.
И ей цена — пятак!

Я люблю вас — глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали до времени старыми,

Вас, убогих, которых газетные полосы
Что ни день, то бесстыдными славят фанфарами.
И пускай это время в нас ввинчено штопором,
Пусть мы сами почти до предела заверчены...
Но оставьте, пожалуйста, бдительность
«операм»!
Я люблю вас, люди! Будьте доверчивы!



КОГДА Я ВЕРНУСЬ...

КОГДА Я ВЕРНУСЬ

Когда я вернусь...
Ты не смейся — когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли,
по февральскому снегу,
По еле заметному следу — к теплу и ночлегу —
И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов
оглянусь —

Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Когда я вернусь...
Послушай, послушай, не смейся,
Когда я вернусь,
И прямо с вокзала, разделавшись круто
с таможней,
И прямо с вокзала — в крошечный, ничтожный,
раёшный —
Ворвусь в этот город, которым казнюсь
и клянусь,

Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Когда я вернусь,
Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать
небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит в меня и заплещется в сердце моем —
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Когда я вернусь,
 Засвистят в феврале соловьи —
 Тот старый мотив — тот давнишний, забытый,
 запетый.

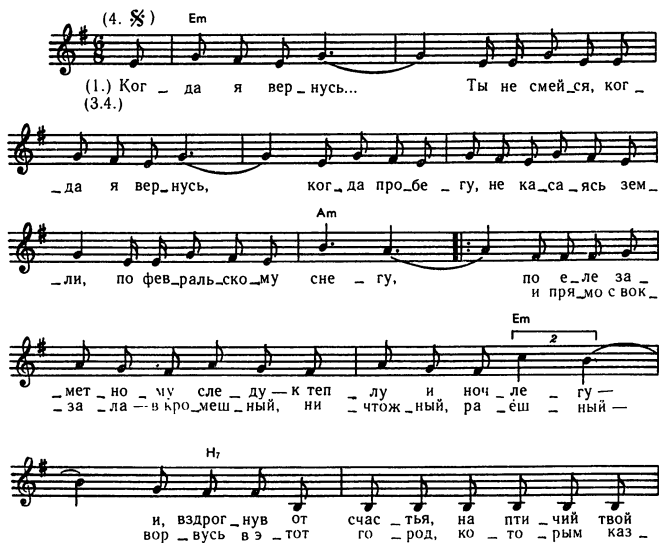
И я упаду,
 Пораженный своею победой,
 И ткнусь головою, как в пристань, в колени
 твои!

Когда я вернусь.

А когда я вернусь?!

Умеренно

(4. $\frac{3}{4}$) Em



(1.) Ког_ да я вер_ нусь... Ты не смей_ ся, ког_ (3.4.)
 _ да я вер_ нусь, ког_ да про_ бе _ гу, не ка_ са _ ясь зем_ _
 _ ли, по фев_ раль_ ско_ му сне _ гу, по е_ ле за _
 и пря_ мо с вок_ _
 _ мет _ но _ му сле _ ду — к теп _ лу и ноч _ ле _ гу —
 _ за _ ла _ в в кро_ меш_ ный, ни _ чтож_ ный, ра _ еш _ ный —
 и, вздрог_ нув от час_ тья, на пти _ чий твой
 вор _ вусь в э _ тот го _ род, ко _ то _ рым каз _

Em Am H₇

зов ог - ля - нуть — ког - да я вер -
 - нуть и кля - нуть, ког - да я вер -

1 2 3 H₇ Em (для 4-й строфы SS)

- нуть. О, ког - да я вер - нуть!
 - нуть О, ког - да я вер - нуть! (2.) Ког -

Em ускоряя

- да я вер - нуть... По - слу - шай, по - слу - шай, не

в темпе

смей - ся, ког - да я вер - нуть и пря - мо с вок - за - ла, раз -

Am

- де - лав - шись кру - то с та - мож - ней,

1 4 Em

// - нуть А ког - да я вер - нуть²¹

ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ

Под утро, когда устанут
Влюбленность, и грусть, и зависть,
И гости опохмелятся
И выпьют воды со льдом,
Скажет хозяйка: «Хотите
Послушать старую запись?» —
И мой глуховатый голос
Войдет в незнакомый дом.

И кубики льда в стакане
Звякнут легко и ломко,
И странный узор на скатерти
Начнет рисовать рука,
И будет бренчать гитара,
И будет крутиться пленка,
И в дальний путь к Абакану
Отправятся облака...

И гость какой-нибудь скажет:
«От шуточек этих зябко,
И автор напрасно думает,
Что сам ему черт не брат!»
«Ну, что вы, Иван Петрович,—
Ответит ему хозяйка,—
Бояться автору нечего,
Он умер лет сто назад...»

Спокойно

Под ут_ро, ког_да ус_та_нут влюб_

_лен_ность и грусть, и за_висть, и

гос_ти о_пох_ме_лят_ся и

вы_пьют во_ды со_льдом,

ска_жет хо_зй_ка «Хо_ти_те по_

_слу_шать ста_ру_ю за_пись?» И

мой глу_хо_ва_тый го_лос вой_

_дет в не_зна_ко_мый дом

Ска_жет хо_зй_ка: «Хо_ти_те по_

_слу_шать ста_ру_ю за_пись?» И

Am₆ Em

мой гла_хо_ва_тый го_лос вой_

H₇ 2 1.2 Em 3 Em

_дет в не_зна_ко_мый дом И //_зад_»

ПЕСНЯ О ТБИЛИСИ

На холмах Грузии лежит ночная мгла...

А. Пушкин

Я не сумел понять Тебя в тот раз,
Когда, в туманы зимние оправлен,
Ты убегал от посторонних глаз,
Но все же был прекрасен без прикрас,
И это я был злобою отравлен.

И Ты меня провел на том пиру,
Где до рассвета продолжалось бдение,
А захмелел — и головой в Куру,
И где уж тут заметить поутру
В глазах хозяйки скучное презренье!

Вокруг меня сомкнулся, как кольцо,
Твой вечный шум в отливах и приборях.
Потягивая кислое винцо,
Я узнавал усатое лицо
В любом пятне на выцветших обоях.

И вновь зурна вступает в разговор,
И вновь с бокалом истово и пылко
Болтает вздор подонок и позер...
А мне почти был сладок Твой позор,
Твоя невиноватая ухмылка.

И в самолете, по пути домой,
Я наблюдал злорадно, как грузины
В Москву, еще объятую зимой,
Везут мешки с оранжевой хурмой
И с первую мимозою корзины.

И я не понял, я понять не мог,
Какую Ты торжествовал победу,
Какой Ты дал мне гордости урок,
Когда кружил меня, сбивая с ног,
По ложному, придуманному следу!

И это все — и Сталин, и хурма,
И дым застоля, и рассветный кочет,—
Все для того, чтоб не сойти с ума,
А суть Твоя является сама,
Но лишь когда сама того захочет!

Тогда тускнеют лживые следы,
И начинают раны врачеваться,
И озаряет склоны Мтацминды
Надменный голос счастья и беды,
Нетленный голос Нины Чавчавадзе!

Прекрасная и гордая страна!
Ты отвечаешь шуткой на злословье.
Но криком вдруг срывается зурна,
И в каждой капле кислого вина
Есть неизменно сладкий привкус крови!

Когда дымки плывут из-за реки
И день дурной синоптики пророчат,
Я вижу, как горят черновики!
Я слышу, как гудят грузовики!
И сапоги охранников грохочут —

И топчут каблуками тишину,
И женщины не спят, и плачут дети,
Грохочут сапоги на всю страну!
А Ты приемлешь горе, как вино,
Как будто только Ты за все в ответе!

Не остывает в кулаке зола,
Все в мерзлый камень памятью одето,
Все, как удар ножом из-за угла...
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
И как еще далёко до рассвета!

ПЕСНЯ ПРО ВЕЛОСИПЕД

Ах, как мне хотелось, мальчишке,
Проехаться на велосипеде.
Не детском, не трехколесном, —
Взрослом велосипеде!
И мчатся навстречу солнцу,
Туда, где сосна и ели,
И чтоб из окна глядели,
Завидуя мне, соседи:
«Смотрите, смотрите, смотрите!
Смотрите, мальчишка едет
На взрослом велосипеде!..»

...Ехал мальчишка по улице
На взрослом велосипеде.
— Наркомовский Петька, умница, —
Шептались вокруг соседи.
Я крикнул — дай прокатиться! —
А он ничего не ответил.
Он ехал медленно, медленно,
А я бы летел, как ветер!
А я бы звоночком цокал,
А я бы крутил педали!
Промчался бы мимо окон —
И только б меня видали!..

...Теперь у меня в передней
Пылится велосипед,
Пылится уже, наверно,
С добрый десяток лет.

Но только того мальчишки
Больше на свете нет,
А взрослому, мне не нужен
Взрослый велосипед...

Ох, как мне хочется, взрослому,
Потрогать пальцами книжку
И прочесть на обложке фамилию
Не чью-нибудь, а мою!..
Нельзя воскресить мальчишку.
Считайте — погиб в бою...
Но если нельзя — мальчишку,
И в прошлое ни на шаг,
То книжку-то можно?! Книжку!
Ее почему никак?!

Величественный, как росчерк,
Он книжки держал под мышкой.
«Привет тебе, друг-доносчик!
Привет тебе, с новой книжкой!»
Партийная Илиада!
Подарочный холуяж!
Не надо мне так, не надо,
Пусть тысяча — весь тираж!
Дорого с суперобложкой?
К черту суперобложку!
Но нету суперобложки,
И переплета нет.

...Немножко пройдет, немножко,
Каких-нибудь тридцать лет.
И вот она, эта книжка —
Не в будущем, в этом веке!
Снимает ее мальчишка
С полки в библиотеке.

А вы говорили — бредни!
А вот — через тридцать лет...

Пылится в моей передней
Взрослый велосипед.

СТАРЫЙ ПРИНЦ

Б. Л. Пастернаку

Карусель городов и гостиниц.
Запах грима и пыль париков...
Я кружу, как подбитый эсминец,
Далеко от родных берегов.

Чья-то мина сработала чисто,
И, должно быть, впервые всерьез,
В деревенеющих пальцах радиста
Дребезжит безнадежное «SOS».

Видно, старость — жестокий гостинец,
Не повесишь на гвоздь, как пальто,
Я тону, пораженный эсминец,
Но об этом не знает никто!

Где-то слушают чьи-то приказы,
И на стенах анонсов мазня,
И стоят терпеливо у кассы
Те, что все еще верят в меня.

Сколько было дорог и отелей,
И постелей, и мерзких простынь,
Скольких я разномастных Офелий
Навсегда отослал в монастырь!

Вот — придворные пятятся задом,
Сыпят пудру с фальшивых седин,
Вот уходят статисты, и с залом
Остаюсь я один на один.

Я один! И пустые подмости.
Мне судьбу этой драмы решать...
И уже на галерке подростки
Забывают на время дышать.

Цепеня от старческой астмы,
Я стою в перекрестке огня.
Захудалые, вялые астры
Ждут в актерской уборной меня.

Много было их, нежных и сирых,
Знавших славу мою и позор...
Я стою и собраться не в силах,
И не слышу, что шепчет суфлер.

Но в насмешку над немощным телом
Вдруг по коже волненья озноб.
Снова слово становится делом.
И грозит потрясеньем основ.

И уже не по тексту Шекспира
(Я и помнить его не хочу!),
Гражданин полоумного мира,
Я одними губами кричу:

«Распалась
связь времен...»

И морозец, морозец по коже,
И дрожит занесенный кулак,
И шипят возмущенные ложи:
«Он наврал, у Шекспира не так!»

Но галерка простит оговорки,
Сопричастна греху моему...
А в эсминце трещат переборки,
И волна накрывает корму.

САЛОННЫЙ РОМАНС

Памяти А. Н. Вертинского

Мне снилось, что потом
В притонах Сан-Франциско
Лиловый негр вам подает манто.

А. Вертинский

И вновь эти вечные трое
Играют в преступную страсть.
И вновь эти греки из Трои
Стремятся Елену украсть.
А сердце сжимается больно,
Виски малярийно мокры
От этой игры треугольной,
Безвыигрышной этой игры.
Развей мою смуту жалейкой,
Где скрыты лады под корой,
И спой, как под старой шинелью
Лежал «сероглазый король».
В беспамятстве дедовских кресел
Глаза я закрою, и вот —
Из рыжей Бразилии крейсер
В кисейную гавань плывет.

А гавань созвездия множит,
А тучи — летучей грядой!
Но век не вмешаться не может,
А норв у века крутой!
Он судьбы смешает, как фанты,
Ему ералаш по душе.
И вот он вряля-лейтенанта
Назначит морским атташе.
На карте истории некто
Возникнет, подобный мазку,

И правнук «лилового негра»
 За займом приедет в Москву.
 И все ему даст непременно
 Тот некто, который никто,
 И тихая «пани Ирэна»
 Наденет на негра пальто.

И так этот мир разутюжен,
 Что черта ли нам на рожон?!
 Нам «ужин прощальный» — не ужин,
 А сто пятьдесят под боржом.
 А трое? Ну что же, что трое!
 Им равное право дано.
 А Троя? Разрушена Троя!
 И это известно давно.
 Все предано праху и тлену,
 Ни дат не осталось, ни вех.
 А нашу Елену — Елену —
 Не греки украли, а век!

Умеренно скоро

И вновь э_ти веч_ны_е тро_е иг_

ра_ют в пре_ступ_ну_ю страсть И вновь э_ти гре_ки из

Тро_и стре_мят_ся Е_ле_ну у_красть А

серд_це сжи_ма_ет_ся боль_но, вис_ки ма_ля_рий_но мок_

Chords: Gm, Cm, D, Gm, Cm, F7, B, Gm, Cm, D7

E₅ Gm Cm

-ры от э-той иг-ры тре-у - голь-ной, без -

D₇ Gm

выиг-рышной э-той иг - ры. Раз - вей мо - ю сму-ту жа - па - мят-стве де - дов-ских

Cm D₇ Gm

-лей-кой, где скры-ты ла-ды под ко - рой, и кре-сел гла - за я за-кро - ю и вот - из

Cm

спой, как под ста-рой ши - нель-кой ле - ры - жей Бра-зи-ли - и крей-сер в ки -

Gm D₇ Gm Gm Gm Для окончания

-жал «се-ро-гла-зый ко - роль» В бес- // вет. А // век!
- сей-ну - ю га-вань ply -

«ОТ БЕДЫ МОЕЙ ПУСТЯКОВОЙ...»

Матери

От беды моей пустяковой
(Хоть не прошен и не в чести),
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

Сатанея от мелких каверз,
Пересудов и глупых ссор,
О тебе я не помнил, каюсь,
И не звал тебя до сих пор.

И, как все горожане, грешен,
Не искал я твой детский след,
Не умел замечать скворешен
И не помнил, как пахнет свет.

...Свет ложился на подоконник,
Затевал на полу возню,
Он — охальник и беззаконник —
Забирался под простыню.

Разливался, пропахший светом,
Голос дудочки в тишине...
Только я позабыл об этом
Навсегда, как казалось мне.

В жизни глупой и бестолковой,
Постоянно сбиваясь с ног,
Пенье дудочки тростниковой
Я сквозь шум различить не смог.

Но однажды в дубовой ложе
Я, поставленный на правеж,
Вдруг увидел такие рожи —
Пострашней балаганьих рож!

Не медведи, не львы, не лисы,
Не кикимора и сова,—
Были лица — почти как лица,
И почти как слова — слова.

За квадратным столом, по кругу,
В ореоле моей вины,
Все твердили они друг другу,
Что друг другу они верны!

И тогда, как свеча в потемки,
Вдруг из давних приплыл годов
Звук пленительный и негромкий
Тростниковых твоих ладов.

И, отвесив, я думал — дерзкий,
А на деле смешной поклон,
Я под наигрыш этот детский
Улыбнулся и вышел вон.

В жизни прежней и в жизни новой
Навсегда, до конца пути,
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

Сдержанно

Музыкальный фрагмент, состоящий из десяти нотных систем. Каждая система содержит нотную запись для голоса и фортепиано, а также русские подпевы. Чords (Dm, A7, Gm, C7, F, Gm6, A) размещены над нотными системами. В конце каждой строки подпевов есть черта, обозначающая продолжение строки.

От бе _
 _ды мо _ ей пус _ тя _ ко _ вой (хоть не _
 про _ шен и не в чес _ ти), маль _ чик
 с ду _ доч _ кой трост _ ни _ ко _ вой, по _ ста _
 _ рай _ ся ме _ ня спа _ сти! Са _ та _
 _ не _ я от мел _ ких ка _ верз, пе _ ре _
 _ су _ дов и глу _ пых ссор, о те _ бе я не пом _ нил,
 ка _ юсь и не звал те _ бя до сих
 пор И, как все го _ ро _ жа _ не,

гре_шен, не ис_кал я твой дет_ский
 след не у_мел за_ме_чать скво_

_ре_шен и не пом_нил, как пах_нет

свет. ...Свет_ло //_вон. В жиз_ни преж_ней и в жиз_ни

но_вой на_всег_да, до кон_ца пу_

_ти, маль_чик с ду_доч_кой трост_ни_

_ко_вой, по_ста_рай_ся ме_ня спас_ти!

СЛУШАЯ БАХА

М. Ростроповичу

На стене прозвенела гитара,
Зацвели на обоях цветы.
Одинокество Божьего дара —
Как прекрасно
И горестно ты!

Есть ли в мире волшебней, чем это,
Всей доукуе земной вопреки,
Одинокество звука и цвета,
И паденья последней строки?

Отправляется небыль в дорогу
И становится былью потом,
Кто же смеет указывать Богу
И заведовать Божьим путем?!

Но к словам, ограненным строкою,
Но к холсту, превращенному в дым,
Так легко прикоснуться рукою,
И соблазн этот так нестерпим!

И не знают вельможные каты,
Что не всякая близость близка,
И что в храм ре-минорной токкаты
Недействительны их пропуска.

ПЕСНЯ ИСХОДА

*Галиньке и Виктору Некрасовым —
мой прощальный подарок*

*«...но Идущий за мною сильнее меня...»
Евангелие от Матфея*

Уезжаете?! Уезжайте —
За таможни и облака.
От прощальных рукопожатий
Похудела моя рука.

Я не плакальщик и не стража,
И в литавры не стану бить.
Уезжаете?! Воля ваша!
Значит — так по сему и быть!

И плевать, что на сердце кисло,
Что прощанье, как в горле ком...
Больше нету ни сил, ни смысла
Ставить ставку на этот кон.

Разыграешься только-только,
А уже из колоды — прыг! —
Не семерка, не туз, не тройка,
Окаянная дама пик.

И от этих усатых шатий,
От анкет и ночных тревог —
Уезжаете?! Уезжайте,
Улетайте — и дай вам Бог!

Улетайте к неверной правде
От взаимправдашних мерзлых зон.

Только мертвых своих оставьте,
Не тревожьте их мертвый сон.

Там — в Понарах и в Бабьем Яре,—
Где поныне и следа нет,
Лишь пронзительный запах гари
Будет жить еще сотни лет!

В Казахстане и в Магадане,
Среди снега и ковыля...
Разве есть земля богоданней,
Чем безбожная та земля?!

И под мраморным обелиском
На распутице площадей,
Где, крещеных единым списком,
Превратила их смерть в людей!

А над ними шумят березы —
У деревьев свое родство!
А над ними звенят морозы
На Крещенье и Рождество!

...Я стою на пороге года —
Ваш сородич и ваш изгой,
Ваш последний певец исхода,
Но за мною придет Другой!

На глаза нахлобучив шляпу,
Дерзкой рыбой, пробившей лед,
Он пойдет, не спеша, по трапу
В отлетающий самолет.

Я стою... Велика ли странность?!
Я привычно машу рукой!

Уезжайте! А я останусь.
Я на этой земле останусь.
Кто-то ж должен, презрев усталость,
Наших мертвых стеречь покой!

*
* *

Прилетает по ночам ворон,
Он бессонницы моей кормчий.
Если даже я ору ором,
Не становится мой ор громче.

Он едва на пять шагов слышен,
Но и это, говорят, слишком.
Но и это, словно дар свыше,—
Быть на целых пять шагов слышным!

ЗАКЛИНАНИЕ ДОБРА И ЗЛА

Здесь в окне по утрам просыпается свет,
Здесь мне все, как слепому, на ощупь знакомо,
Уезжаю из дома! Уезжаю из дома!
Уезжаю из дома, которого нет!

Это дом и не дом. Это дым без огня,
Это пыльный мираж или Фата-Моргана.
Здесь Добро в сапогах рукояткой нагана
В дверь стучало мою, надзирая меня.

А со мной кочевало беспечное Зло,
Отражало вторженья любые попытки,
И кофейник с кастрюлькой на газовой плитке
Не дурили и знали свое ремесло.

Все смешалось: Добро, Равнодушие, Зло.
Пел сверчок деревенский в московской
квартире,
Целый год благодати в безрадостном мире —
Кто из смертных не скажет, что мне повезло?!

И пою, что хочу, и кричу, что хочу,
И хожу в благодати, как нищий в обновке.
Пусть движенья мои в этом платье неловки,
Я себе его сам выбирал по плечу!

Но Добро, как известно, на то и Добро,
Чтоб уметь притвориться — и добрым, и смелым,
И назначить при случае черное — белым,
И веселую ртуть превращать в серебро.

Все причастно Добру.
Все подвластно Добру.
Только с этим Добрынею взятки негладки,
И готов я бежать от него без оглядки
И забиться, зарыться в любую нору.

Первым сдался кофейник:
Его разнесло,
Заливая конфорки и воздух поганя...
И Добро прокричало, гремя сапогами,
Что во всем виновато беспечное Зло!

Представитель Добра к нам пришел поутру,
В милицейской, как помнится мне, плащ-палатке,
От такого, попробуй — сбеги без оглядки,
От такого, поди-ка, заройся в нору.

И сказал представитель, почтительно-строг,
Что дела выездные решают в ОВИРе,
И что Зло не прописано в нашей квартире,
И что сутки на сборы достаточный срок!

Что ж, прощай, мое Зло! Мое доброе Зло.
Ярым воском закапаны строчки в псалтыри,
Целый год благодати в безрадостном мире —
Кто из смертных не скажет, что мне повезло?!

Что ж, прощай и — прости!

Набухает зерно,
Корабельщики ладят смоленые доски,
И страницы псалтыри — в слезах, а не в воске,
И прощальное в кружках гуляет вино.

Я растил эту ниву две тысячи лет —
Не пора ль поспешить к своему урожаю?!
Не грусти!
Я всего лишь навек уезжаю
От Добра и из дома —
Которого нет.

Над блочно-панельной Россией,
Как лагерный номер — луна.

Обкомы, горкомы, райкомы,
В подтеках снегов и дождей.
В их окнах, как бельма трахомы
(Давно никому не знакомы),
Безликие лики вождей.

В их залах прокуренных — волки
Пинают людей, как собак.
А после те самые волки
Усядутся в черные «Волги»,
Закурят вирджинский табак.

И дач государственных охра
Укроет посадских светил,
И будет мордастая ВОХРа
Следить, чтоб никто не следил.

И в баньке, протопленной жарко,
Запляшет косматая чудь...

Ужель тебе этого жалко?
Ни капли не жалко, ничуть!

Я не вспомню, клянусь, я и первые годы
не вспомню,

Севастопольский берег,
Почти небывалая быль.
И таинственный спуск в Херсонесскую
каменоломню.

И на детской матроске —
Эллады певучая пыль.

Я не вспомню, клянусь!
Ну, а что же я вспомню?

А что же я вспомню?
Усмешку
На гадком чиновном лице,
Мою неуклюжую спешку
И жалкую ярость в конце.

Я в грусть по березкам не верю,
Разлуку слезами не мерь.
И надо ли эту потерю
Приписывать к счету потерь?

Как каменный лес, онемело,
Стоим мы на том рубеже,
Где тело — как будто не тело,
Где слово — не только не дело,
Но даже не слово уже.

Идут мимо нас поколения,
Проходят и машут рукой.
Презренье, презренье, презренье
Дано нам, как новое зренье
И пропуск в грядущий покой!

А кони?
Крылатые кони,
Что рвутся с гранитных торцов,
Разбойничий посвист погони,
Игрушечный звон бубенцов?!

А святки?
А прядь полушалка,
Что жарко спадает на грудь?
Ужель тебе этого жалко?
Не очень...
А впрочем — чуть-чуть!

Но тает февральская свечка,
Но спят на подушке сычи,
Но есть еще Черная речка,
Но есть еще Черная речка,
Но — есть — еще — Черная речка...

Об этом не надо!
Молчи!

ЗАСЫПАЯ И ПРОСЫПАЯСЬ

Все снежком январским припорошено,
Стали ночи длинные лютей...
Только потому, что так положено,
Я прошу прощенья у людей.

Воробьи попрятались в скворешники,
Улетели за море скворцы...
Грешного меня — простите, грешники,
Подлого — простите, подлецы!

Вот горит звезда моя субботняя,
Равнодушна к лести и хуле...
Я надену чистое исподнее,
Семь свечей расставлю на столе.

Расшумятся к ночи дурни-лабухи:
Ветра и поземки чертовня...
Я усну, и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня.

А потом из прошлого бездонного
Выплывет озябший голосок —
Это мне Арина Родионовна
Скажет: «Нит гедайге *, спи, сынок,

* Нит гедайге — не расстраивайся, не огорчайся (идиш).

Сгнило в вошебойке платье узника,
Всем печалям подведен итог,
А над Бабьим Яром — смех и музыка...
Так что, все в порядке, спи, сынок.

Спи, но в кулаке зажди оружие —
Ветхую Давидову пращу!»
...Люди мне простят от равнодушия,
Я им — равнодушным — не прощу!

РУССКИЕ ПЛАЧИ

На степные урочища,
На лесные берлоги,
Шли Олеговы полчища
По немирной дороге.
И на марш этот гляючи,
В окаянном бессильи
В голос плакали вятичи,
Что не стало России!
 Ах, Россия, Рассея —
 Ни конца, ни спасенья.

И живые, и мертвые,
Все молчат, как немые.
Мы — Иваны Четвертые,
Место лобное в мыле!
Лишь босой да уродливый,
Рот беззубый разиня,
Плакал в церкви юродивый,
Что пропала Россия.
 О, Рассея, Россия —
 Все пророки босые!

Горькой горестью мечены
Наши беды и плачи —
От петровской неметчины
До нагайки казачьей.
Птица вещая — троечка,
Тряска вечная, чертова!
Не смущаясь ни столечка,

Объявилась ты, троечка,
Чрезвычайкой в Лефортово!
Ах, Россия, Рассея —
Чем набат не веселье?!

Что ни год — лихолетье,
Что ни враль — то мессия.
Плачет тысячелетие
По России — Россия.
Плачет в бунте и скучности,
А попробуй, спроси:
А была ль она, в сущности,
Эта Русь на Руси?

Эта — с щедрыми нивами,
Эта — в пене сирени,
Где рождаются счастливыми
И отходят в смиреньи?
Где, как лебеди, девицы,
Где под ласковым небом
Каждый с каждым поделится
Божьим словом и хлебом.

...Листья капают с дерева
В безмятежные воды
И звенят, как метелица,
Над землей хороводы.
А за прялкой беседы
На крыльце полосатом
Старики домоседы,
Знай, дымят самосадом.
Осень в золото набрана,
Как икона в оклад...

Значит, все это наврано,
Лишь бы в рифму да в лад?!

Чтоб, как птицы на дереве,
Затихали в грозу,
Чтоб не знали, но верили
И роняли слезу.
Уродилась проказница,
Весь бы свет ей крушить,
Согрешивши, покаяться
И опять согрешить.
Барам в ноженьки кланяться,
Бить челом палачу...
Не хочу с тобой каяться
И грешить не хочу.
Переполнена скверною
От покрышки до дна...

Но ведь где-то, наверное,
Существует — Она!
Та — с привольными нивами,
Та — в кипеньи сирени,
Где рождаются счастливыми
И отходят в смиреньи.

Птица вещая, троечка,
Буйный свист под крылом,
Птица, искорка, точка
В бездорожья глухом.
Я молю тебя:

«Выдюжи!

Будь и в тленьи живой,
Чтоб хоть в сердце, как в Китеже,
Слышать благовест твой».

*
* *

Когда-нибудь дошлый историк
Возьмет и напишет про нас,
И будет насмешливо горек
Его неспешный рассказ.

Напишет он с чувством и толком,
Ошибки учтет наперед,
И все он расставит по полкам,
И всех по костям разберет.

И вылезет сразу в середку
Та главная, наглая кость,
Как будто окурок в селедку
Засунет упившийся гость.

Чего уж, казалось бы, проще
Отбросить ее и забыть?
Но в горле застрявшие мощи
Забвенья вином не запить.

А далее кости поплоче
Пойдут по сравнению с той,—
Поплоше, но странно похожи
Бесстыдной своей наготой.

Обмылки, огрызки, обноски,
Ошметки чужого огня:
А в сноске —

вот именно, в сноске —

Помянет историк меня.

Так, значит, за эту вот строчку,
За жалкую каплю чернил,
Воздвиг я себе одиночку
И крест свой на плечи взвалил.

Так, значит, за строчку вот эту,
Что бросит мне время на чай,
Веселому щедрому свету
Сказал я однажды: «Прощай!»

И милых до срока состарил,
И с песней шагнул за предел,
И любящих плакать заставил,
И слышать их плач не хотел.

Но будут мои подголоски
Звенеть и до Судного дня...
И даже неважно, что в сноске
Историк не вспомнит меня!

*
* *

Кошачьими лапами вербы
Украшен фанерный лоток,
Шампанского марки «Ихъ штербе» *
Еще остается глоток.

А я и пригубить не смею
Смертельное это вино,
Подобно лукавому змею,
Меня искушает оно!

«Подумаешь, пахнет весною,
И вербой торгуют враздрыг.
Во первых строках — привозною,
И дело не в том, во-вторых.

Ни в медленном тлении весен,
Ни в тихом мерцаньи строки,
Ни в медленном таяньи весел
Над желтой купелью реки —

Ни лада, ни смысла, ни склада,
Как в громе, гремящем вдали...
А только и есть, что ограда
Да мерзлые комья земли.

* «Я умираю» (нем.) — последние слова А. П. Чехова.

А только и есть, что ограда
Да склепа сырое жильё.
Ты смертен, и это награда
Тебе — за бессмертье Твое...»

**ПЕСЕНКА-МОЛИТВА,
КОТОРУЮ НАДО ПРОЧЕСТЬ
ПЕРЕД САМЫМ ОТЛЕТОМ**

Галинке

Когда — под крылом — добежит земля
К взлетному рубежу,
Зажмурь глаза и представь, что я
Рядом с тобой сижу.

Пилот на табло зажег огоньки,
Искусственную зарю,
А я касаюсь твоей руки
И шепотом говорю:

— Помолимся вместе, чтоб этот путь
Стал Божьей твоей судьбой.

Помолимся тихо, чтоб где-нибудь
Нам свидеться вновь с тобой!

Я твердо верю, что будет так,—
Всею силой моей любви!

Твой каждый вздох и твой каждый шаг,
Господи, благослови!

И слухам о смерти моей не верь —
Ее не допустит Бог!

Еще ты, я знаю, откроешь дверь
Однажды — на мой звонок!

Еще очистительная гроза
Подарит нам правды свет!

Да будет так!

И открой глаза:

Моя — на ладони твоей — слеза,
Но нет меня рядом, нет!

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

За чужую печаль
и за чье-то незваное детство
нам воздастся огнем и мечом
и позором вранья,
возвращается боль,
потому что ей некуда деться,
возвращается вечером ветер
на круги своя.

Мы со сцены ушли,
но еще продолжается детство,
наши роли суфлер дочитает,
ухмылку тая,
возвращается вечером ветер
на круги своя,
возвращается боль,
потому что ей некуда деться.

Мы проспали беду,
промотали чужое наследство,
жизнь подходит к концу,
и опять начинается детство,
пахнет мокрой травой
и махорочным дымом жилья,
продолжается детство без нас,
продолжается детство,
продолжается боль,
потому что ей некуда деться,
возвращается вечером ветер
на круги своя.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ



Дай мне неспешно и нелживо
Поведать пред Лицом Твоим
О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо.
О том, как зреет гнев в сердцах...

Александр Блок. «Возмездие»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

...Земля была пустыней — выжженной, вытопанной, залитой кровью. Жаркий ветер, сметая пепел и прах, посвистывал в черных развалинах. И мимо этих развалин, что еще недавно хвастливо и гордо называли себя «столицей мира» — городом Карфагеном, — бесстрастно шагали римские легионеры и мерными движениями, как сеятели, разбрасывали соль.

Пусть во веки веков на этой земле, опозоренной грехом и гордыней, не вырастет, не пробьется к свету ни одна былинка.

Горе тебе, Карфаген!

...В ту мокрую снежную зиму, когда произошли события, о которых я собираюсь здесь рассказать, в Москве, возможно, были перебои с песком (в Москве всегда с чем-нибудь перебои), а возможно и по какой-нибудь другой причине — но уже не римские легионеры, а самые обыкновенные московские дворники посыпали проходную часть улицы крупной серой солью, оставившей на обуви несмываемые противные белесые разводы.

— Горе тебе, Карфаген! — негромко сказал я жене, когда мы вылезли из такси и через улицу, заваленную сугробами, перешли на другую сто-

рону, к подъезду Дворца культуры комбината «Правда».

Здесь, в это утро, очередная Студия Художественного театра — впоследствии она будет называться Театр-студия «Современник» — показывала генеральную репетицию моей пьесы «Матросская тишина».

Впрочем, и студийцам, и мне — автору, и многим другим заинтересованным лицам было известно, что пьеса уже запрещена, но, при этом, запрещена как-то странно.

Официально она запрещена не была, у нее — у пьесы — даже оставался так называемый разрешительный номер Главлита, что означало право любого театра пьесу эту ставить, — но уже зазвенели в чиновных кабинетах телефонные звоночки, уже зарокотали — минуя пишущие машинки секретарши — приглушенные начальственные голоса, уже некое весьма ответственное и таинственное лицо — таинственное настолько, что не имело ни имени, ни фамилии, — вызвало к себе директора Ленинградского театра имени Ленинского Комсомола и приказало прекратить репетиции «Матросской тишины».

— Но, позвольте, — растерялся директор, — спектакль уже на выходе, что же я скажу актерам?!

Таинственное лицо пренебрежительно усмехнулось:

— Что хотите, то и скажите! Можете сказать, что автор сам запретил постановку своей пьесы!..

Нечто подобное происходило и в других городах, где репетировалась «Матросская тишина». И нигде никто ничего не говорил прямо — а, так сказать, не советовали, не рекомендовали, предлагали одуматься!

И вот — перестали сколачивать декорации, прекратили шить костюмы, помрежи отобрали у актеров тетрадочки с ролями, режиссеры-постановщики спрятали экземпляры пьесы в ящики письменных столов.

Когда-нибудь, на досуге, они перечитают пьесу, вздохнут и помечтают о том, какой спектакль они бы поставили, если бы...

И только маленькая Студия — еще не театр, не организация с бланками и печатью — упорно продолжала на что-то надеяться.

То ли на высокое покровительство Московского Художественного театра, то ли на малопонятную упрямую поддержку пьесы парторгом ЦК при МХАТе, неким Сапетовым, поддержку, за которую он впоследствии схлопочет «строгача» — строгий выговор с предупреждением за потерю бдительности и политическую близорукость.

Но, быть может, самой главной основой надежды, основой основ, было то, что никто из нас — ни я, ни студийцы — не могли понять, за что, по каким причинам наложен запрет на эту почти наивно-патриотическую пьесу. В ней никто не разоблачался, не бичевались никакие пороки, совсем напротив: она прославляла — правда, не партию и правительство, а народ, победивший фашизм и сумевший осознать себя как единое целое.

Я начал писать эту пьесу весной Сорок пятого года.

Это была воистину удивительная весна! Приближался день победы, незнакомые люди на улицах улыбались, обнимали и поздравляли друг друга, я был смертельно и счастливо влюблен в свою будущую жену, покончил навсегда с

опостылевшим мне актерством и решил заняться драматургией.

Казалось, что вот теперь-то и вправду начнется та новая, безмятежная и прекрасная жизнь, о которой все мы столько лет мечтали; казалось — а может быть так оно и было на самом деле — в первый раз, в самый первый и единственный раз, которому уже никогда больше не суждено было повториться ни в нашей судьбе, ни в судьбе страны, в те дни везде и повсюду возникло в людях радостное чувство общности, единства, причастности к великим событиям и самому дыханию истории.

И мы не знали — не хотели знать, а потому и не знали, — что уже тащатся, отстаиваясь днями на запасных путях, тащатся в Воркуту, в Магадан, в Тайшет арестантские эшелоны, битком набитые теми самыми героями войны, о которых мы — вольные — распевали такие прекрасные и задушевные песни; что распухают в восстановленных архивах НКВД папки с делами бывших и будущих эзков; что совсем скоро выйдут постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и вываляют в грязи, ошельмуют великих русских писателей Ахматову и Зощенку; что бездарнейший Жданов, причастный к культуре только тем, что умел, с грехом пополам, играть на рояле «Сентиментальный вальс» Чайковского, будет с высокомерием невежды обучать Прокофьева и Шостаковича правилам, сути и смыслу музыки.

А еще чуть позже начнется и вовсе страшное — дело Вознесенского, убийство Михоэлса, физическое уничтожение Еврейского театра и Еврейского Антифашистского комитета, борьба с космополитизмом, унижительная в своей ничтож-

ности «борьба за приоритет», знаменитая сессия ВАСХНИЛа, на которой лысенковцы навсегда — так они думали — покончат с «лженаукой» генетикой.

Так вот, повторяю, могли ли мы знать в ту удивительную и прекрасную весну сорок пятого года — какой кровавый шабаш, какая непристойность безумия и преступлений ожидает нас в ближайшие годы?!

Еще несколько лет назад я, не задумываясь, ответил бы — нет, не могли знать!

Но теперь —

...На этом горьком рубеже,
Когда отрублены канаты
И сходни убраны уже...

Теперь, сейчас, когда я — да и не один я, многие — с пристрастием допрашиваем сами себя и поверяем сегодняшним отчаянием и завтрашними надеждами всю нашу прошлую жизнь, имею ли я право с той же определенностью сказать: нет, ничего мы знать не могли!

Как же так?! Ведь знали же мы, знали, прекраснейшим образом знали, какой унижительной проверке — а подчас и не только проверке — подвергаются и старики, и малыши, жившие «под немцем», или, как деликатно писали в газетах, «оказавшиеся на временно оккупированной территории»!

Знали мы и о том, какая участь ждала офицеров и солдат, попавших в плен, сумевших выжить в лагерном аду и освобожденных «родными советскими войсками»! Знали о судьбе немцев Поволжья, крымских татар, чеченцев и ингушей, кабардино-балкарцев! Знали, но...

Прошивали вечерние небеса разноцветные стежки салютов, гремели торжественные залпы,

пели и танцевали на Красной площади, строгий голос диктора Левитана сообщал по радио о начале штурма Берлина — и по-детски пронзительная вера в чудеса, вера в то, что все будет хорошо и удивительно, что вот сейчас, вон за тем углом, за тем поворотом вдруг откроется и заплещется море, которому здесь отродясь быть не положено,— эта счастливая и, в глубине своей, трусливая вера, заставляла нас не слышать, не думать, не видеть и не помнить обо всем, что могло хоть на мгновение помешать или омрачить нашу общую радость.

В те дни я начал писать эту пьесу. Потом, по вполне естественным причинам, я ее отложил в сторону, стал — без особых, между прочим, угрызений совести — сочинять водевили и романтическую муру, вроде «Вас вызывает Таймыр» и «Походного марша», и вернулся к «Матросской тишине» только много лет спустя, после Двадцатого съезда КПСС и разоблачений Хрущевым преступлений Сталина, вернулся в ту пору, которая с легкого пера Ильи Эренбурга получила название «оттепели».

Название это, кстати, при всей своей пошлости, довольно точно отражает ту насморочно-хлипкую кутерьму, ту восторженно-потную неразбериху, которая эту пору отличала.

И опять мы поверили! Опять мы, как бараны, радостно заблеяли и ринулись на зеленую травку, которая оказалась вонючей топью.

Я дописал пьесу, отпечатал ее в четырех экземплярах, прочитал нескольким друзьям. Никакому театру я ее почему-то — хотя и был в те годы вполне преуспевающим драматургом — не предложил.

И вот, однажды, без предварительного звон-

ка, ко мне пришел актер Михаил Казаков (когда он работал в театре имени Маяковского, он играл в моей пьесе «Походный марш» главную роль) и актер Центрального детского театра Олег Ефремов — один из основателей Театра-студии «Современник», а ныне главный режиссер Московского Художественного театра.

Они сказали, что достали у кого-то из моих друзей экземпляр пьесы, прочли ее на труппе, пьеса понравилась, и теперь они просят меня разрешить им начать репетиции, с тем чтобы Студия открылась как театр двумя премьерами: пьесой В. Розова «Вечно живые» и «Матросской тишиной».

Так начался год нашей дружной, веселой, увлекательной работы — которая в это зимнее утро должна была завершиться никак не ожидаемым нами финалом.

...Небольшая толпа, состоявшая в основном из молодежи, — друзья студийцев, знакомые, родственники — томилась у подъезда Дворца культуры.

Как выяснилось, Александр Васильевич Солодовников, тогдашний директор Художественного театра, не только распорядился строжайшим образом не пускать на «генералку» никого, кроме лиц, поименованных в особом списке, но и вызвал на подмогу беспечным сторожам Дворца культуры мхатовских билетеров, вымуштрованных наподобие кремлевской охраны.

Вальяжный, как все работники МХАТа, белолицый администратор стоял рядом с билетерами и держал в руке составленный Солодовниковым список.

Увидев меня с женой, он приветливо, хотя

и несколько печально, улыбнулся, кивнул и сказал билетерам:

— Пропустите!

В толпе, томившейся у входа, раздались недовольные голоса:

— Почему это одних пускают, а других...

— Это А В Т О Р!

— Ну и что же?! — хрипло сказала какая-то девчушка.

И она была, разумеется, права! Что есть автор для театральных чиновников, как не докучливый недотепа, доставляющий лишние хлопоты начальству, обремененному и без того высокими, даже высочайшими государственными заботами?! А тут, на тебе — читай пьесу, или того пуще — трать драгоценное время, смотри спектакль и придумывай формулировки, на основании каковых следует этот спектакль запретить!

Так при чем же, спрашивается, автор?! Решительно ни при чем!

...Несколько лет спустя мы с одним приятелем сочинили шуточную песню:

Мы поехали за город,
А за городом дожди,
А за городом заборы,
За заборами вожди!

Там — трава несмятая,
Дышится легко!
Там — конфеты мятные,
Птичье молоко!

За семью заборами,
За семью запорами,
Там — конфеты мятные,
Птичье молоко!

О упоение — величайшее из величайших!
О непреходящая страсть и забота партийно-пра-

вительственных чиновников — создание и узаконение всякого рода неравенств и предпочтений, воздвигание заборов и навешивание табличек с надписью:

«Посторонним вход воспрещен»!

«Посторонним вход строго воспрещен»!

«Посторонним вход строжайше воспрещен»!

Я видел такую табличку, повешенную дирекцией какого-то военного санатория на воротах знаменитого парка в Гурзуфе. Я смотрел на эту табличку и с грустью думал, что Александр Сергеевич Пушкин, который, как известно, числился за гражданским ведомством, не мог бы гулять в наши дни по дорожкам своего любимого парка и, возможно, не знали бы мы с вами строк:

...Там некогда и я,
Сердечной мукой полный...

...Итак, мы отдали с женою наши пальто унылому гардеробщику, привели себя в порядок перед зеркалом — все-таки генеральная репетиция — и направились в зал.

Я никогда не забуду того сиротливо-тоскливого чувства, которое охватило меня, как только я переступил порог дверей, ведущих в зрительный зал. Верхняя люстра не горела, и в огромном помещении, рассчитанном тысячи на полторы мест, сидело человек пятнадцать, не больше. И еще усиливая ощущение сиротливости, стоял в зале какой-то непонятный и неприятный запах, словно в нем долго сушили плохо постиранное белье и курили скверный табак.

Этот запах будет еще долго меня преследовать и даже иногда сниться. Мне вообще снятся запахи:

Я усну, и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня!..

...Запахи Севастополя — первого города, живущего в моей памяти,— были летними: мокрые и теплые камушки, соленая морская вода в нефтяных разводах и гниющие на берегу водоросли, сладковатый запах пыльной акации, которая росла на нашем дворе. А в знаменитой панораме «Оборона Севастополя» пахло совсем замечательно — скипидаром, лаком и деревом, нагретым солнцем.

Мы медленно шли с мамой по круглой галерее панорамы — мимо окон, за которыми расстилались форпосты береговой обороны и виднелись окутанные дымом корабли с распущенными парусами.

Но, как ни странно, корабли меня заинтересовали не слишком. Мы жили недалеко от Графской пристани, большую часть дня я проводил на берегу, и кораблей — и военных, и торговых, и парусников — навидался предостаточно.

А вот у окна, выходящего на четвертый бастион, я застрял. И застрял надолго. Здесь все было замечательно: и реющий в дымном тумане Андреевский флаг, и раскаленные жерла пушек, и суetyающиеся возле этих пушек орудийные расчеты, и храпящие, мчащиеся неведомо куда боевые кони.

А совсем рядом со мной, внизу, лежал на земле беззвучно кричащий раненый морячок и молоденькая сестра милосердия, встав около него на колени, бинтовала ему окровавленную грудь.

Я смотрел и смотрел, а потом даже высунулся из открытого окна, чтобы разглядеть еще лучше — куда именно ранен морячок и почему у него так странно подвернута нога,— я высунулся, наклонился, и с головы моей слетела матросская шапочка и упала на руки сестре милосердия.

И тут я не то чтобы испугался — я просто-напросто окаменел.

Я понял, что сейчас должно произойти нечто ужасное — гром, молния, Божья кара!

Но ничего не произошло.

Появился хромой сторож, мама попросила его достать мою шапку, сторож улыбнулся и снова куда-то исчез. А потом — и это уже было совсем невероятно и ни на что не похоже — хромой сторож оказался там, на поле боя. Как ни в чем не бывало, постукивая деревяшкой протеза, он подошел к раненому морячку и сестре милосердия, наклонился, поднял с земли — а вернее сказать, с пола — мою матросскую шапочку и, отряхнув, протянул ее — оттуда! — нам.

— Спасибо,— сказала мама,— большое спасибо!

— Не об чем говорить, мадам! — весело, с певучей южной интонацией ответил сторож.

...А запахи Москвы были зимними. Удивительно, но я совершенно не могу себе представить Москву моего детства весной и летом. Может и впрямь — есть летние города и зимние города?! Я отчетливо помню запах снега на Чистых прудах, запах крови во рту (какой-то великовозрастный болван уговорил меня, в лютый мороз, попробовать на вкус висевший на воротах железный замок), запах мокрой кожи и шерсти — это сушились на голландской печке мои вываленные в снегу ботинки и ненавистные рейтузы, которые перед каждой прогулкой со скандалом натягивала на меня мама.

Я усну, и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня!..

...В зрительном зале Дворца культуры наиболее многочисленной — человек десять — была

группа административных работников Художественного театра и каких-то незначительных чиновников из Управления культуры. Сапетов — наш защитник и друг — на репетицию не пришел, и возглавлял эту группу важный, в хорошо сшитом костюме, Александр Васильевич Солодовников. Человек неглупый, но решительно ничтожный, он, говорят, имел какое-то родственное отношение к знаменитой купеческой династии Солодовниковых и, во искупление своего подмоченного социального происхождения, прислуживал власть имущим с таким старанием, что постоянно пересаливал, совершал какие-нибудь промахи — и тогда на некоторое время он исчезал, словно проваливался в небытие, из которого снова возникал в очередном кресле очередного директорского кабинета — Художественного театра, Большого театра, Малого театра, Комитета по делам искусств, Министерства культуры — и так далее, и тому подобное.

Если Барон в пьесе Горького «На дне» говорит, что он всю жизнь только и делал, что переодевался, то Солодовников всю жизнь пересаживался из одного кресла в другое. А табличку со скромной и лаконичной надписью «Директор А. В. Солодовников» он, верно, носил в портфеле — сам привинчивал ее к дверям, сам отвинчивал.

...В стороне, совершенно отдельно от всех, закинув голову и что-то внимательно изучая на потолке, сидел Георгий Александрович Товстоногов — художественный руководитель Ленинградского Большого Драматического театра имени Горького. Решительно непонятно — как и зачем он попал на эту генеральную репетицию, хотя именно ему суждено будет сказать роковую фра-

зу, которой воспользовался Солодовников, когда, после окончания спектакля, возникнет долгая и неловкая пауза.

Человек по-настоящему талантливый, Товстоногов добился ведущего положения в театральном мире благодаря своему дарованию, энергии, даже некоторой смелости.

Но одно дело — пробиться наверх. И совсем другое — на этом верху удержаться.

Тут уж никакой творческий дар, никакая энергия и уж тем более смелость помочь не могут. И начинается позорный путь компромиссов, сделок с собственной совестью, рассуждений, вроде:

— Ну, ладно, поставлю к такому-то юбилею или торжественной дате эту дерьмовую пьесу, но уж зато потом...

Но и потом будет юбилей и очередная торжественная дата — в нашей стране они следуют друг за другом непрерывною чередой — и: «Все мастера культуры, все художники театра и кино должны откликнуться, обязаны осветить, отобразить, увековечить, прославить!»...

И откликаются, освещают, отображают, увековечивают, прославляют!

И не наступит, никогда уже не наступит это заветное «потом» — вянет талант, иссякает энергия и навсегда исчезает из словаря даже само слово «смелость».

...Когда мы с женой вошли в зал и заняли места — где-то примерно ряду в пятнадцатом, — все головы обернулись к нам и на всех лицах изобразилось такое печально-сочувственное выражение — таким выражением обычно встречают на похоронах не слишком близких родственников усопшего.

А Солодовников посмотрел на меня особо. Солодовников посмотрел на меня так, что я, сам того не желая, усмехнулся.

Я хорошо, на всю жизнь, запомнил подобный взгляд.

...После того, как мы переехали из Севастополя в Москву, мы поселились в Кривоколенном переулке, в доме номер четыре, который в незапамятные времена — сто с лишним лет тому назад — принадлежал семье поэта Дмитрия Веневитинова. Осенью тысяча восемьсот двадцать шестого года, во время короткого наезда в Москву, Александр Сергеевич Пушкин читал здесь свою только что законченную трагедию «Борис Годунов».

В зале, где происходило чтение, мы и жили. Жили, конечно, не одни. При помощи весьма непрочных, вечно грозящих обрушиться перегородок зал был разделен на целых четыре квартиры — две по правую сторону, если смотреть от входа, окнами во двор; две по левую — окнами в переулок, и между ними длинный и темный коридор, в котором постоянно, и днем и ночью, горела под потолком висевшая на голом шнуре тусклая электрическая лампочка.

Окна нашей квартиры выходили во двор. Вернее, даже не во двор, а на какой-то удивительно нелепый и необыкновенно широкий балкон, описанный в воспоминаниях Погодина о чтении Пушкиным «Бориса Годунова».

А во дворе, в одноэтажном выбеленном сараеобразном доме, который все по старинке называли «службами», жил дворник Захар.

Был он добрейшей души человек, но горький

пьяница. В конце концов он допился до белой горячки и умер.

Жена Захара решила после похорон и поминок уехать домой, в деревню. Собралась она быстро, а перед отъездом, вроде бы на прощанье, устроила распродажу оставшихся после Захара и ненужных ей в деревне вещей.

Прямо во дворе, на деревянном столе, очищенном от снега и застеленном газетами, было разложено для всеобщего обозрения какое-то немислимое шмотье — все, что попадалось Захару в те недавние смутные годы, когда в Веневитиновском доме чуть не каждый месяц — а то и чаще — сменялись жильцы. Одни уезжали — неведомо куда, другие переезжали — неведомо откуда. И все они что-нибудь бросали, оставляли. А Захар подбирал. И теперь это брошенное и подобранное лежало на деревянном столе, под открытым небом, на желтых газетах — и некрупный снежок падал на рваную одежду и разрозненную обувь, на искалеченные люстры, на чемоданы и кофры с продранными боками и оторванными ручками, на всевозможнейшие деревяшки и железки неизвестного назначения.

А совсем с краю, уже даже и не на газете, как вещь воистину и в полном смысле этого слова бесполезная и пустая, лежал альбом с марками.

Альбом был очень толстый и очень замурзанный. Марки в него были вклеены как попало — неряшливо и небрежно, иные прямо обратной стороной к бумаге. Наклеивал их, видно, какой-то совершеннейший дурак и невежда. Но альбом, повторяю, был очень толстый. И марок в нем было очень много. И когда я спросил у жены Захара, сколько она за него хочет, она — не взглянув в мою сторону и даже, кажется, не

разобрав, к чему именно я прицениваюсь,— равнодушно ответила:

— Пять гривен.

Я понимал, что пятьдесят копеек — это большие деньги, но я все-таки выпросил их у отца. И я купил этот альбом.

Несколько дней подряд я, как скупой рыцарь, подсчитывал количество неиспорченных («небракованных» — так полагалось говорить) марок в «Альбоме Захара». Их оказалось что-то около двух с половиной тысяч штук. В основном это были русские дореволюционные марки.

Как большинство начинающих, я мечтал о «треуголках» с далекого острова Борнео, о черных лебедях Тасмании и Новой Зеландии, о красочных марках Бельгийского Конго. А тут все были какие-то двуглавые орлы и унылые портреты государей-императоров.

Но я не огорчился. Я знал, что есть чудачки, которые собирают именно старые русские марки, что можно совершить обмен — но для этого полагалось, по всем законам, определить хотя бы приблизительную ценность марок в «Альбоме Захара». Нужен был каталог.

А каталог, даже плохонький (я уж не говорю о знаменитом французском каталоге Ивера), стоил так дорого, что я и заикнуться не смел, чтобы мне его купили.

Но и тут отыскался выход.

Недалеко от нашего дома, у Мясницких (Кировских) ворот находился Главный Почтамт. И ежедневно, часов с двух и до позднего вечера, в здании Почтамта, у окошечка, за которым красномордый старик продавал открытки и марки, собирались филателисты и нумизматы со всей Москвы.

Не было тогда, наверное, ни клуба, ни филателистического общества, и поэтому все охотники за марками и старинными монетами толпились здесь, на этом неприютном и шумном пятачке.

Прелюбопытнейшее это было зрелище — азартные мальчишки, вроде меня, мал мала меньше, и почтенные седобородые старцы, пожилые мужчины этакого профессорского обличья — в пенсне и старомодных глубоких калошах, и мятые юркие личности неопределенного возраста, общественного положения и даже пола. И у всех, не исключая самых седых и почтенных, были прозвища. Так, например, глава всего этого сборища, непререкаемый авторитет по любым вопросам филателии и нумизматики, длинный худой старик с козлиной бородкой и противным скрипучим голосом назывался «Дядя Меша» или «Мешок».

Здесь можно было — купить, продать, совершить обмен, получить справку и консультацию и, что самое главное, у красномордого «дедушки в окошке» был каталог Ивера, в который он разрешал заглядывать всем желающим.

И вот я отправился на Главный Почтамт. Для начала я взял с собой только одну марку — ту, которую я по неизвестным причинам особенно невзлюбил. Марка эта и вправду была какая-то ужасно скучная: большая, квадратная, с невыразительным рисунком и надписью «Русский телеграф».

...В ответ на мою робкую просьбу «дедушка в окошке» взял со стола вождеденный, в синем матерчатом переплете, каталог Ивера и, еще не давая его мне, коротко спросил:

— Какая страна?

— Россия.

«Дедушка в окошке» перелистал каталог, нашел нужную страницу, заложил ее бумажной полоской и протянул, наконец, каталог мне.

Я взглянул на заложенную страницу и обомлел.

Некрасивая, большая, почти квадратная марка с невыразительным рисунком и надписью «Русский телеграф», словом, та самая марка, которая — запрятанная в пакетик — лежала сейчас у меня в нагрудном кармане, открывала раздел марок России. Она была отмечена тремя звездочками, что, кажется, означало крайнюю степень редкости, и стоила, если мне не изменяет память, не то двадцать пять, не то тридцать пять тысяч франков.

— Ну, давай каталог! — проворчал «дедушка в окошке» и, увидев на моем лице выражение идиотского восторга, граничащего с испугом, заинтересовался:

— Ты чего?

Я молча показал ему марку.

«Дедушка в окошке» издал горлом какой-то булькающий странный звук, и окошко внезапно закрылось. Через мгновение (случай небывалый!) дедушка вышел из стеклянной двери в перегородке и напрямик направился к дяде Меше. Я уж и не знаю, что он ему там сказал, но только дядя Меша, мгновенно прервав беседу с каким-то чрезвычайно франтоватым молодым человеком, обернулся, поглядел на меня и, не здороваясь, протянул длинную худую руку:

— Покажите! Это ваша марка? — спросил он меня через секунду и, не дожидаясь ответа, вытащил из кармана бумажник и бережно спрятал в него конвертик с маркой.

— Вот что, — сказал дядя Меша, — я сегодня

покажу эту марку экспертам... Завтра ровно в три часа я буду здесь! Если ваша марка не подделка, не «фальшак», то я предложу вам за нее чрезвычайно интересный и выгодный для вас обмен!.. Будьте здоровы!

...Но назавтра — ни в три, ни в четыре, ни в пять — дядя Меша на Почтамт не пришел. Он явился только на третий день, и когда, еще издали, я увидел, как он проталкивается сквозь тяжелую вращающуюся дверь, я — не помня себя от радости — со всех ног бросился к нему.

— Здравствуйте!

— Мое почтение?! — удивленно, холодно и небрежно ответил дядя Меша.

— Ну, как моя марка? — спросил я, глупо улыбаясь.

Лохматые брови дяди Меши полезли вверх:

— Ваша марка? Какая ваша марка?

— Ну, как же?! — залепетал я, уже чувствуя, что происходит что-то ужасное и непоправимое.— Ну, вы же помните... Вы взяли у меня марку... «Русский телеграф»...

— «Русский телеграф»?!

Дядя Меша скорчил презрительную усмешку.

— Милостивый государь! — сказал он, добивая меня окончательно, поскольку ни до, ни после никто не называл меня «милостивым государем». — Я занимаюсь филателией больше сорока лет... Только недавно мне впервые удалось достать «Русский телеграф» и то в довольно плохой сохранности! Я знаю коллекционеров — настоящих коллекционеров, которым за всю жизнь так и не посчастливилось достать этот раритет...

Что такое «раритет» я не знал, но мне уже было все равно.

Несколько мятых личностей обступили нас,

с мрачным интересом прислушиваясь к нашему разговору.

Усмешка на губах дяди Меши стала еще язвительнее:

— Позвольте, позвольте... Теперь я припоминаю... Да, действительно, вы дали мне на обмен марку, но она оказалась такой бессовестной, такой грубой подделкой, что я ее просто-напросто выбросил!

...Вот так же точно, как дядя Меша, посмотрел на меня Александр Васильевич Солодовников. И хоть он и не назвал меня «милостивым государем», но то же язвительно-скучное осуждение читалось в его взгляде — зачем, мол, ты, братец, подсовываешь нам, занятым людям, какую-то грубую подделку, какой-то фальшак?!

Великое правило «черного рынка», первейшая заповедь всех и всяческих шулеров и мошенников — обманутого следует объявить обманщиком!

Весь год ни валко и ни шатко,
Все то же в новом январе.
И каждый день горела шапка,
Горела шапка на воре!
А вор белье тащил с забора,
Снимал с прохожего пальто
И так вопил:
— Держите вора! —
Что даже верил кое-кто!

...И только две дамочки, сидевшие в первом ряду, не проявили к нашему появлению ни малейшего интереса и, не обернувшись, продолжали шушукаться о чем-то своем.

Как выяснилось — эти дамочки-то и были самыми главными, это для них устраивалась генеральная репетиция, это от них ждали окончательного и решающего слова.

...Я довольно хорошо запоминаю лица людей, которых встречал даже мельком, но сегодня, как я ни бьюсь, я не могу восстановить в памяти светлый облик этих ответственных дамочек.

Помню только, что они были почти пугающе похожи друг на друга, как две рельсы одной колеи. Одинаковые бесцветные жидкие волосы, собранные на затылке в одинаковые фиги, одинаковые тускло-серые глазки, носы — пуговкой, тонкогубые рты. И даже фамилии (честное слово, я ничего не придумываю!) у них были одинаково птичьи: дамочка из ЦК звалась Соколовой, а дамочка из МК — Соловьевой.

Причем как-то так получилось по сложнейшей системе партийно-чиновной иерархии, что дамочка из МК (в платье кирпичного цвета) была почему-то главнее дамочки из ЦК (в платье бутылочного цвета) и, как говорили, они далеко не всегда и не во всем ладили.

Но сегодня они были заранее заодно и мирно шушукались, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. В довершение пугающего сходства у обеих дамочек был насморк, и они, время от времени, почти одинаковыми движениями вытирали покрасневшие носы-пуговки и чинно запикивали платочки в рукава бутылочного и кирпичного платьев.

О чем они шушукались, кто знает!

Уж наверняка не о Студии, не о пьесе, не о спектакле. Даже (я допускаю и это!) не о государственных делах, а скорее всего — о чем-нибудь уютном, мирном, домашнем: о здоровье, о детях, о том, как готовить капустные котлеты — с яйцом или без.

Есть три раза в день хотят все, даже палачи.

...Когда-то, в тысяча девятьсот сорок девятом году, я, как молодой кинематографист, был приглашен на торжественное собрание в Дом кино, посвященное избиению космополитов от кинематографа.

Принцип единообразия действовал с железной последовательностью: если были, поначалу, обнаружены космополиты в театре, теперь, естественно, следовало их обнаружить и разоблачить в кинематографе, в музыке, в живописи, в науке.

Среди тех, кого собирались побивать камнями на этом торжище, были и мои тогдашние друзья — драматург Блейман, критик Оттен, Коварский.

Именно это обстоятельство заставило меня пойти в Дом кино и даже сесть вместе с ними в первом ряду — они все сидели в первом ряду для того, чтобы выступавшие могли обрушивать с трибуны свой пламенный гнев не куда-нибудь в пространство, а прямо в лицо изгоям, безродным космополитам, Иванам и Абрамам не помнящим родства!..

А вел собрание, председательствовал на нем, управлял им Михаил Эдишерович Чиаурели — любимый режиссер и неперменный застольный шут гения всех времен и народов, вождя и учителя, отца родного, товарища Сталина.

Зычным и ясным голосом Чиаурели объявлял фамилию очередного оратора, что-то задумчиво чертил в блокноте, поворачивал к говорившему свой медальный — как у Остапа Бендера — профиль, то хмурился, то язвительно усмеялся, то неодобрительно поджимал губы.

Он негодовал, он скорбел, он переживал.

И вдруг, поглядев в зал, он увидел меня и что-то изменилось в его лице. Он даже чуть при-

поднял руку и, встретившись со мной взглядом, несколько раз призывно покивал мне головой.

Я похолодел. Я понял, что после уже объявленного перерыва Чиаурели хочет, чтобы выступил я и от имени молодых заклеил кого положено заклеить и заверил кого положено заверить — в том, что уж мы-то, молодые, не подведем, не подкачаем, не посраим!

«Надо смываться!» — решил я.

А Чиаурели все продолжал призывно кивать мне головой, и я мысленно обругал своего ни в чем не повинного младшего брата, на свадьбе которого я и познакомился с Михаилом Эдишеровичем.

...Когда объявили перерыв, я ринулся к выходу, но меня почти мгновенно перехватил администратор Дома кино:

— Вас просил задержаться товарищ Чиаурели, он хочет с вами поговорить!..

Чиаурели спустился со сцены в зал, подошел, взял меня дружески под руку, отвел в угол.

Задумчиво, как бы изучающе глядя мне в лицо, он негромко спросил:

— Слушай, это правда, что у тебя большое сердце?

— Правда, правда, Михаил Эдишерович,— заторопился я, надеясь, что это обстоятельство поможет мне отказаться от выступления,— правда!

Но уже следующий вопрос Чиаурели меня буквально ошеломил:

— Слушай, а сколько раз ты не боишься?

Я ничего не понял:

— Как это — «сколько раз»?

— Ну, ты понимаешь,— Чиаурели повертел пуговицу на моем пиджаке и печально улыбнул-

ся,— у меня тут, в Москве, одна очень прекрасная девочка... Цветочек!.. Но когда я ее...— он употребил, как нечто совершенно естественное, грубое непечатное слово,— больше двух раз, у меня начинает болеть сердце! А сколько раз ты не боишься?..

...Так вот о чем он думал, этот почтенный председательствующий на торжественном аутодафе, вот какая мысль томила его и не давала ему покоя, вот о чем он размышлял, делая вид, что с глубоким вниманием прислушивается к истерическим выкрикам Всеволода Пудовкина и хрипению Марка Донского.

Теперь я знаю, что означало покачивание головой, поджимание губ, саркастическая усмешка!

А вот о чем шушукались бутылочная и кирпичная, я не узнаю уже никогда. Тем более, что и сами они давным-давно позабыли и эту генеральную репетицию, и мою пьесу — столько их было потом! — других театральных залов, других спектаклей, других пьес, которые по той или иной причине следовало запретить.

...Когда мы с женой заняли свои места, Солодовников встал. Он подошел к первому ряду и что-то почтительно спросил у ответственных дамочек.

Кирпичная кивнула.

— Олег Николаевич! — позвал Солодовников.

В проеме занавеса в ту же секунду появилось испуганное лицо Олега Ефремова.

— Олег Николаевич,— сказал Солодовников и посмотрел на часы,— я думаю — будем начинать!.. А то товарищи,— он значительно ука-

зал на бутылочную и кирпичную,— торопятся!

— Хорошо, Александр Васильевич!..

Ефремов скрылся и через мгновение, когда в зале погас свет, снова появился на авансцене в луче бокового софита и начал — он исполнял в моей пьесе роль Чернышева и одновременно рассказчика — читать вступительную ремарку:

— Детство. Город Тульчин. Первая пятилетка. Август одна тысяча девятьсот двадцать девятого года. Очереди у хлебных магазинов. Вечерами по Рыбаковой балке слоняются пьяные. Они жалобно матерятся, поют дурацкие песни и, запрокинув головы, с грустным недоверием разглядывают звездное небо. Следом за пьяными, почтительными стайками, ходим мы, мальчишки.

В ту пору нам было по десять-двенадцать лет. Мы не очень-то сетовали на трудную жизнь и с удивлением слушали ворчливые разговоры взрослых о торговле, которая пришла в упадок, и о продуктах, которых невозможно достать даже на рынке. Мы, мальчишки, были патриотами, барабанщиками, мечтателями и спорщиками...

Шварцы жили в нашем дворе. Вдвоем — отец, Абрам Ильич, и Давид — они занимали большую полуподвальную комнату. Вещи в этой комнате были расставлены самым причудливым образом. Казалось — их только что сгрузили с телеги старьевщика и еще не успели водворить на места. Прямо напротив двери висел большой портрет. На портрете была изображена старуха в черной наколке, с тонкими, иронически поджатыми губами. Старуха неодобрительно смотрела на входящих.

...Двинулся занавес. Так как спектакль уже перестали финансировать, то декорации были

сооружены из так называемого «подбора» — кое-что удалось смастерить самим, кое-что выпросить в постановочной части Художественного театра.

...Ефремов медленно, спиной к зрительному залу — словно разглядывая внимательно то, что происходит на сцене, — перешел из левой кулисы в правую, остановился и, вполоборота к залу, договорил слова вступления:

— Вечер. Абрам Ильич Шварц (актер Е. Евстигнеев), маленький пожилой человек, похожий на плешивую обезьянку, сняв пиджак, разложил перед собой на столе скучные деловые бумаги, исчерканные красным карандашом. Давид (актер И. Кваша) стоит у окна. Ему двенадцать лет. У него светлые рыжеватые вихры, слегка вздернутый нос и оттопыренные уши. Он играет на скрипке, время от времени умоляющими глазами поглядывая на круглые стенные часы-ходики.

У дверей, развалившись в продранном кресле, сидит толстый и веселый человек — кладовщик Митя Жучков (актер Н. Пастухов).

Ефремов, слегка понизив голос:

— Сухо пощелкивают костяшки на счетах. Упражнения Ауэра утомительны и тревожны, как вечерний разговор с Богом. За окном равнодушный женский голос протяжно кричит на одной ноте:

— Серёньку-у-у-у!

...Ефремов скрылся в кулисе, и сцена, до тех пор неподвижная, ожила: запиликала скрипка, защелкали костяшки на счетах, где-то далеко протяжно прокричал женский голос:

— Серёньку-у-у-у!

ВТОРАЯ ГЛАВА

Закончилось первое действие. В зале снова зажегся тоскливый и тусклый боковой свет.

Ответственные дамочки разом встали и твердыми шагами командора направились в туалет, сохраняя на безликих лицах выражение этакой начальственной отрешенности. Отрешенность эта должна была, очевидно, означать — хоть мы и идем в туалет, но мы слишком ответственные работники, чтобы кто-нибудь посмел подумать, что мы идем в туалет!

Поравнявшись с Солодовниковым и встретив его вопросительный взгляд, кирпичная сказала сокрушенно и очень громко — в пустом зале голос ее прозвучал как-то особенно громко и гулко:

— Никакой драматургии... Ну совершенно, совершенно никакой драматургии!..

Солодовников понимающе кивнул.

Моя жена, точно окаменев, сидела, вцепившись руками в подлокотники кресла.

В этом первом антракте мы оба — заядлые курильщики — даже не вышли в фойе покурить.

Белолицый администратор, почтительно проводив ответственных дамочек до выхода и тут же вернувшись, вдруг быстро подошел ко мне, наклонился и, со вздохом, шепотом проговорил:

— Дали бы мне этот спектакль месяца на три — на четыре... Я бы им закатил таких сто аншлагов, что...

Он поцокал языком и так же быстро отошел.

А я сидел и нетерпеливо ждал начала второго действия. Я прекрасно — даже и тогда — понимал все его недостатки, но с этим вторым действием у меня были какие-то свои, тайные и особые отношения.

Дело в том, что я никогда не жил и даже не бывал в Тульчине. Я его придумал, вообразил, «вычислил» — как принято теперь говорить.

Детство свое я провел в Севастополе, в Ростове, в Баку — в разных больших и малых городах, куда забрасывало неугомонное время моих неугомонных родителей.

А в Тульчине я не бывал.

Уже в середине двадцатых годов семья моя навсегда поселилась в Москве, я очень быстро стал московским мальчиком — и в Трифоновский студенческий городок, где жили многие мои иногородние друзья, ездил чуть ли не ежедневно — именно в том самом тридцать седьмом году, именно в тот самый Трифоновский студенческий городок, где и происходит второе действие.

Тут уж я ничего не воображал и не придумывал — тут я помнил.

...В тысяча девятьсот тридцать пятом году, окончив девять классов десятиклассной средней школы, которая обрыдла мне до ломоты в скулах, я нахально решил поступить в Литературный институт.

Как ни странно, меня приняли на поэтическое отделение необыкновенно легко и даже почти без экзаменов. Сыграла свою роль, наверное, заметка Эдуарда Багрицкого в газете «Комсомольская правда», которую он написал незадолго до своей смерти и где он в чрезвычайно лестных тонах упоминал мое имя.

Но уже поступив в Литературный институт и болтаясь по Москве в ожидании начала занятий — дело происходило летом, — я вдруг узнал, что на улице Горького (тогда она еще называлась Тверской), в доме номер двадцать два, где поме-

щалась ранее Малая сцена Художественного театра, открывается новая театральная Школа-студия под руководством самого Константина Сергеевича Станиславского, в каковую Студию и производится набор лиц обоего пола в возрасте от семнадцати до тридцати пяти лет!

Я затрепетал и заметался!

...Передо мной на столе лежит пожелтевшая от времени программа и пригласительный билет на закрытое заседание Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, посвященное столетней годовщине чтения Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитиновых.

Программки были отпечатаны тиражом всего в шестьдесят экземпляров. И то это было много, потому что торжественное заседание происходило не где-нибудь, а в нашей квартире — в одной из тех четырех квартир, что были выгорожены из зала Веневитиновского дома. И хотя квартира наша состояла из целых трех комнат, комнаты были очень маленькими, и как разместились в них шестьдесят человек — я до сих пор ума не приложу.

Все, однако же, каким-то непостижимым образом разместились.

В воскресенье двадцать четвертого октября (двенадцатого по старому стилю) тысяча девятьсот двадцать шестого года — состоялся этот, незабываемый для меня, вечер.

Съезд приглашенных ожидался к восьми часам, но еще с утра, еще в первой половине дня, началось волшебное преображение нашего дома.

У моих родителей довольно часто бывали гости, и я прекрасно знал, что это значит, когда в наших комнатах натирают полы, накрывают стол парадной скатертью, когда на кухне — кото-

рая помещалась в темном коридоре за занавеской — что-то шипит и жарится, и отец, священнодействуя, настаивает водку на лимонных корочках.

Но теперь все было совсем по-другому. Преображение не имело внешних примет, а шло как бы изнутри. Преображалась самая суть нашего дома — воздух его, звуки, запахи, настроение. Дом ожидал чуда — и все это понимали, а я, как мне казалось, понимал с особенной страстной отчетливостью.

Первым, часам к шести, приехал старший брат моего отца — профессор Московского университета, пушкинист, один из организаторов этого вечера. Он рассеянно бродил по комнатам, теребил мягкую седую бородку, бесцельно переставлял стулья с места на место, и вообще по всему было видно, что он очень волнуется.

И вот, наконец, пробило восемь и начали появляться приглашенные. Они здоровались с дядюшкой и отцом, целовали руку маме, улыбались мне — но все это еще не было чудом, я знал, чудо было впереди.

Открыл вечер председатель Общества любителей российской словесности профессор Сакулин. Потом с короткими сообщениями выступили профессор Цявловский и дядюшка, а потом, после недолгого перерыва, началось чудо. В программке чудо это называлось так:

«Чтение отрывков из „Бориса Годунова“ артистами Московского Художественного театра. Сцену „Келья в Чудовом монастыре“ исполняют Качалов и Синицын, сцену „Царские палаты“ — Вишневский, сцену „Корчма на литовской границе“ — Лужский, сцену „Ночь, сад, фонтан“ — Гоголева и Синицын, и отрывок из воспоминаний

Погодина о чтении Пушкиным „Бориса Годунова“ у Веневитиновых исполнит Леонидов».

Чудо произошло мгновенно и незаметно — просто Василий Иванович Качалов сел в глубокое кожаное кресло (которое отец, по случаю, приобрел где-то на распродаже), а у ног Качалова на низкой скамеечке, моей скамеечке, устроился Синицын.

И вдруг стало зябко и сумрачно, и окно нашей столовой вытянулось и сузилось, и на нем появилась решетка, и кожаное кресло превратилось в деревянное, и зазвучал несравненный голос Качалова — Пимена:

Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя...

...Само собой разумеется, что с этого вечера я стал бредить театром. Я выучил наизусть чуть ли не всего «Бориса Годунова» и, вышагивая по нашему темному коридору, декламировал, безуспешно подражая качаловским интонациям:

Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному!..

...Как же я мог теперь, увидев объявление о наборе учеников в Студию Константина Сергеевича Станиславского, удержаться и не подать заявление о приеме?! Правда, мне еще не исполнилось семнадцати лет, но меня это смущало не слишком, тем более, что заявление у меня приняли и даже назначили день, когда я должен явиться на первый экзамен.

Если в Литературный институт, как уже было сказано выше, я попал сравнительно легко, то на экзаменах в Студию пришлось натерпеться и волнения, и страхов.

Конкурс был немислимый — сто человек на одно место. Приемные испытания проводились в четыре тура, причем с каждым новым туром экзаменаторы были все более знаменитыми и все более строгими.

На предпоследнем, третьем туре председательствовал Леонид Миронович Леонидов, великий театральный актер и педагог, прославленный Митя Карамазов.

На этом экзамене я показывал с партнершей, назначенной мне на втором туре — до сих пор помню, что звали ее Верочкой Поповой, — сцену из «Романтиков» Ростана.

Мы поставили — один на другой — два шатких стола, что должно было означать сцену, влезли наверх и принялись, по выражению старых провинциальных актеров, «рвать страсть в ключья», изображая несчастных влюбленных.

Как выяснилось потом, экзаменационная комиссия, во главе с Леонидовым, смотрела на наши безумства стоя, ибо мы каждую секунду грозили свалиться с нашей верхотуры им на голову.

На следующий день я с совершенно искренним удивлением узнал, что допущен к четвертому туру — то есть, в сущности, принят в Студию, так как четвертый тур заключался в показе самому Константину Сергеевичу Станиславскому уже отобранных будущих учеников.

...Я очень плохо помню тот день. Все мы волновались — до заиканья, до дрожи в коленях, до слез в глазах.

«Театральный роман» Булгакова еще не был напечатан, и я не мог оценить ту насмешливую точность, с которой в главе «Сивцев Вражек»

описаны двор дома Станиславского, и знаменитая деревянная лестница, ведущая на второй этаж, и прихожая с беленькими колоннами и черной-пречерной печкой.

Впрочем, в тот день я не сумел бы оценить Булгакова, даже если бы и читал роман. Я был в беспамятстве.

...И вот я стою в зальце, где такие же, как в прихожей, беленькие колонны, и прямо передо мною сидит Станиславский, а рядом с ним Леонидов, и еще кто-то и еще кто-то — десятки лиц, сливающихся в одно зыбкое пятно.

Надсадным голосом я читаю Пушкина: «Графа Нулина» и «Погасло дневное светило».

Потом я вижу, как Станиславский приподнимает большую белую руку — помню, что я еще тогда, сразу, поразился величине, белизне и необыкновенно выразительной пластичности этой руки — и подзывает меня.

Я подхожу. Я вижу совсем рядом лицо Станиславского, седую голову и по-прежнему темные брови, слышу горьковатый запах одеколона и негромкий голос:

— Скажите, а монолог вы какой-нибудь приготавливали?

— Монолог «Скупого рыцаря!» — с готовностью выпаливаю я.

Леонидов почему-то фыркает, как будто он поперхнулся. И вокруг тоже раздаются смешки.

Станиславский улыбается и совсем тихо — мне приходится к нему наклониться — спрашивает:

— Голубчик, а поскромней у вас чего-нибудь нет? Вам сколько лет?

— Семнадцать, — отвечаю я.

— Семнадцать?! — переспрашивает Стани-

славский и вдруг, откинувшись назад, начинает весело и по-детски заразительно смеяться.

...Через несколько дней после этого показа нам торжественно вручили удостоверения, в которых, черным по белому, было написано, что мы являемся студийцами первого курса Оперно-Драматической Студии Народного артиста СССР Константина Сергеевича Станиславского.

Начались занятия. Все очень старались — боялись отсева. Всем было трудно, а мне труднее, чем остальным.

...Целый учебный год, с осени до весны, я метался, как заяц, из Литературного института в Студию, а потом снова в институт и снова в Студию — благо хоть находились они недалеко друг от друга.

Перед весенними экзаменами меня остановил Павел Иванович Новицкий, литературовед и театральный критик, который и в институте, и в Студии читал историю русского театра, — и характерным своим ворчливым тоном сказал:

— На тебя, братец, смотреть противно, — кожа да кости! Так нельзя... Ты уж выбирай что-нибудь одно...

Помолчав, он еще более ворчливо добавил:

— Если будешь писать — будешь писать... А тут все-таки Леонидов, Станиславский — смотри на них, пока они живы!

И я бросил институт и выбрал Студию.

Не пройдет, между прочим, и месяца, как я в первый раз — а впоследствии не однажды — пожалею об этом решении.

...Теперь, когда мне уже не надо было мчаться с лекций в институте на занятия в Студию, у меня неожиданно образовалось свободное время и я мог спокойно, не торопясь, совершать обходы

букинистических магазинчиков, которых в ту пору было на Тверской превеликое множество.

Однажды в дверях одного из таких магазинчиков я столкнулся с Леонидом Мироновичем Леонидовым.

Устремив на меня свой знаменитый прищуренный «пулевидный» правый глаз, он зловеще сказал:

— Ага, так, так! Книжечками интересуетесь?

— Да,— виновато признался я.

— Прекрасно! — сказал Леонид Миронович и взял меня под руку.— Здесь сегодня ничего хорошего нет, а вот, говорят, напротив, у Кузьми-ча...

Леонидов был страстным книжником и знал по имени-отчеству всех букинистов Москвы. Он собирал издания «Академии» и книги по театру, а я поэзию. Мы, так сказать, не были конкурентами (да и возможности у нас были, разумеется, разные), и после занятий — а Леонид Миронович репетировал с нами «Плоды просвещения», где я исполнял роль гипнотизера Гроссмана,— он иногда, если был в хорошем настроении, предлагал мне:

— Пройдемся, Саня, по книжкам?

Один из таких походов я запомнил особенно хорошо, этот пронзительный весенний день — с холодным ветром и ярким солнцем. Только что, на занятиях, Леонидов похвалил меня за какой-то этюд — и теперь я шагал рядом с ним, возбужденный, радостный, и без умолку трещал о ролях, которые я мечтаю сыграть.

Я не слишком утруждал свою фантазию, а просто, почти без изменений, повторял репертуар легендарного провинциального актера на амплуа «неврастеников» Павла Орленева, мемуара-

ми которого мы все тогда зачитывались: Треплев в «Чайке», Освальд в «Привидениях» Ибсена, «Орленок» Ростана.

Леонидов шагал, посмеиваясь — большой, грузный, постукивал палкой. А потом он вдруг остановился, положил руку мне на плечо и сказал:

— Вот что... Ты теперь уже взрослый, на второй курс переходишь... Можешь попросить завтра в канцелярии — скажи, что я разрешил, — свое заявление о приеме и мою на нем резолюцию! Почитай!..

...Я держал в руках свое заявление, я читал и перечитывал надпись, сделанную Леонидовым, — красным карандашом, крупным, угловатым, каким-то готическим почерком:

«ЭТОГО принять обязательно! Актер не выйдет, но что-нибудь получится! Л. М.»

Сердце мое было разбито. На несколько дней. Свойственное мне до седых волос легкомыслие и вера в то, что все еще как-то обернется к лучшему, заставили меня усомниться в справедливости слов Леонидова.

Я пробыл в Студии еще целых три года.

...Странное это было заведение — последняя Студия гениального мастера, последнее детище величайшего актера и режиссера, одного из основателей Московского Художественного театра, создателя прославленной и изучаемой во всем мире «Системы Станиславского».

Странное это было заведение, очень странное!

Ну, например, едва ли не треть педагогов Студии состояла из близких и не очень близких родственников самого Константина Сергеевича Станиславского. Предмет «Мастерство художественного чтения» вела Зинаида Сергеевна Соко-

лова — несостоявшаяся актриса, родная сестра Станиславского. Брат — милейший старик — Владимир Сергеевич Алексеев занимался с нами и вовсе загадочной дисциплиной — правилами истинно московского произношения.

Был Владимир Сергеевич рассеян до чрезвычайности. Однажды мы поднимались с ним вместе из гардероба на второй этаж, где находились учебные классы Студии.

И вот, пройдя несколько ступенек, Владимир Сергеевич, с которым я уже здоровался в гардеробе, остановился, поглядел в мою сторону, мило улыбнулся и протянул руку:

— Здравствуйте, голубчик, здравствуйте! Как поживаете?

— Спасибо, Владимир Сергеевич, здравствуйте, хорошо!

Пока мы успели подняться наверх, эта процедура здорования повторилась раз пять, не меньше.

Была еще в Студии какая-то сгорбленная и скрюченная старушенция, уже из дальних родственников, которая обучала нас пластике движения. Была и другая старушка — шепелявая, картавая и злая, — она занималась с нами постановкой голоса.

Уроки эти мы ненавидели страстно — в течение часа старуха негнушимся пальцем выдалбливала на рояле простейшие трезвучия, а мы должны были, с разной степенью громкости, тянуть за нею:

— Ми — ма — мо!.. Ми — ма — мо!..

Но конечно же, конечно — были и Станиславский, Леонидов, Подгорный, Книппер-Чехова, были опытнейшие педагоги и воспитатели Раевский и Карев, были студийные вечера, на которых

мы, совсем рядом, могли видеть и слышать великих актеров Москвина, Качалова, Тарханова...

И тем более, многие причастные к Студии — и я в том числе — не раз задумывались над таким простейшим вопросом: как случилось, как могло случиться, что из тридцати человек, отобранных из трех тысяч (потом еще было два набора, и всего на драматическом отделении — а существовало еще и оперное — занималось человек пять — десять), что из этих избраннейших из избранных, из этих счастливчиков, которым завидовали студенты всех театральных школ, — как случилось, что из них не вышло ни одного, ни единого сколько-нибудь значительного актера, за исключением разве что Михаила Кузнецова, который сразу же по окончании Студии ушел работать в кино.

Ответ, как я теперь думаю, прост: никого настоящего и не интересовало — станут студийцы актерами или не станут. Нам преподавали актерское мастерство, как же иначе! — но были мы, в сущности, деревянными фигурками на шахматной доске, именуемой пышно «Театром — Храмом», мы были подопытными кроликами, на которых Константин Сергеевич Станиславский проверял свою последнюю теорию — «теорию физических действий».

Писалось об этой теории достаточно много, а в двух словах сводилась она к следующему: правильные физические действия должны привести исполнителя к правильному поведению, правильное поведение — вызвать правильное состояние, правильное состояние — помочь обрести правильные слова.

Я сам каждую неделю принимал участие в репетициях «Гамлета» под руководством Константина Сергеевича.

Распределение ролей никакого значения не имело: роль Гамлета была почему-то поручена девушке, Ирине Розановой, я — восемнадцатилетний, худющий, как щепка, — изображал короля Клавдия.

Заучивать шекспировский текст нам было строжайшим образом запрещено. Предполагалось, что если мы будем правильно действовать, в соответствии с сюжетом пьесы, то и найдем, в конце концов, правильные слова.

Разумеется, многие из нас жульничали. И я жульничал чаще других.

Пользуясь своей хорошей памятью, я время от времени вставлял в эту чудовищную ахинею, которую мы все несли, — подлинные, хотя и слегка ритмически измененные шекспировские слова, и тогда Константин Сергеевич радостно улыбался, хлопал в ладоши и с глубоким удовлетворением говорил:

— Вот, видите, — Саня правильно действовал и он нашел почти правильные слова.

...Много лет спустя, когда я, наконец, прочту удивительный «Театральный роман» Булгакова, я узнаю и этот особняк в Леонтьевском переулке, и фойе-прихожую с вечно раскаленной печкой, и маленький домашний театральный зал, и кабинет Константина Сергеевича, где проходили наши репетиции.

Но если в годы действия «Театрального романа» еще возможно было такое чудо, как приезд Ивана Васильевича (то бишь Константина Сергеевича) на репетицию в театр, то в годы последней Студии Станиславский никуда и никогда из дома не выходил.

Запершись в своем особняке, отгородившись от всего света, он жил в иллюзорном, совершенно

нереальном мире, где единственной святыней, началом всех начал и смыслом всех смыслов было некое «Театральное Искусство» с большой буквы, которому он истово продолжал служить до глубокой старости, тогда как «там»...

Презрительная усмешка и великолепный жест большой выхоленной руки давали нам понять, что под словом «там» подразумевается нынешний Художественный театр, которым заправляет единолично Владимир Иванович Немирович-Данченко и где ставятся какие-то немислимые современные пьесы, названия которых и запомнить-то невозможно.

У нас в Студии подобные глупости не допускались. Если художественное чтение, то «Семейное счастье» Толстого или, на худой конец, «Герой нашего времени» или «Стихотворения в прозе» Тургенева.

Если пьесы, то «Три сестры», «Плоды просвещения», «Гамлет» и «Ромео и Джульетта».

И, покоренные великим талантом нашего великого учителя, замороженные его неслыханным обаянием, величием его имени и человеческой мужской красотой, — мы тоже жили в придуманном, нереальном иллюзорном мире. Нет, конечно же, у нас бывали комсомольские собрания, мы читали газеты — Константин Сергеевич газет не читал, — мы слушали радио и смотрели кино. Но все это делалось как-то мельком, мимоходом, все это было не главным. Сокрушительные события этих страшных лет не имели, казалось, к нам, студийцам, ни малейшего отношения.

Многие из нас — многие, если не большинство — жестоко поплатятся за эти, словно лишенные зрения и слуха, годы юности. Поплатятся разочарованием и утратой таланта,

неверием в собственные силы, горестным ощущением непоименованных потерь и почти звериной ненавистью ко всем и вся за то, что собственная судьба так и не состоялась!

Я не кощунствую!

Я пишу о себе и пытаюсь разобраться в том, почему так странно и нелепо сложилась моя жизнь, почему так поздно пришло ко мне — не прозрение, нет, прозрение — это слишком высокое и ответственное слово, — а просто хотя бы понимание элементарнейших истин, и почему понимание это далось мне с таким трудом и такой великой ценой, в то время как мои более молодые друзья обрели и мужество, и зрелость — естественно, как дыхание.

Станиславский умер седьмого августа тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Мы — несколько студийцев, случайно оказавшихся в Москве (остальные разъехались на каникулы, а Художественный театр был где-то на гастролях), — до глубокой ночи помогали приводить в порядок дом: завешивали зеркала, перевивали черным крепом колонны в прихожей и в зале, расставляли цветы.

Утром мы пришли снова, но уже не поднялись наверх, а остались во дворе. Мы сидели на лавочке, молчали, курили.

Было жарко, и душно, и как-то нестерпимо жестоко светло, будто на свете вовсе перестала существовать тень.

Мы услышали, как к воротам подъехала машина, хлопнула дверца и во двор быстро вошел Качалов. Он был без шляпы, в темном — а тогда мне показалось, да и по сей день кажется — в черном костюме.

Мы встали.

Качалов еще издали, глазами, спросил нас — правда ли?

И мы тоже молча ответили — да, правда.

И тогда Качалов, как-то нелепо, боком при-слонившись к белой стене дома, заплакал. Он плакал открыто, в голос, страшно. И страшней всего было то, что сам Качалов как бы исчез, его не было — был только черный костюм, распла-щенный на ослепительно белой стене.

После того, как умер Константин Сергеевич и тяжело заболел Леонидов, из Студии и вовсе словно выпустили воздух, и я совершил очеред-ной отчаянный шаг — не окончив учебного курса, перешел в другую Студию — Московскую теат-ральную студию, которой руководили режиссер Валентин Плучек и драматург Алексей Арбузов.

О, в этой новой Студии не только не шараха-лись от современности — здесь жили современно-стью, дышали современностью, клялись совре-менностью.

Она и создавалась-то, эта Студия, на обще-ственных началах: мы сами за свои деньги (боль-шую часть давал Арбузов) снимали помещение школы на улице Герцена, напротив Консервато-рии, и в этой школе по вечерам репетировали пьесу «Город на заре» — о строительстве Комсо-мольска.

Мы все делали сами: сами эту пьесу писали (под редакцией Арбузова), сами режиссировали (под руководством Плучека), сами сочиняли к ней песни и музыку, рисовали эскизы декораций.

Жить делами и мыслями сегодняшнего дня — вот лозунг, который мы свято исповедовали!

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что занимались мы чистейшим самообманом: мы только думали, что живем современностью, а мы

ею вовсе не жили, мы ее конструировали, точно разыгрывали в лицах разбитые на реплики и ремарки передовые из «Комсомольской правды».

С одержимостью фанатиков мы сами ни на единую секунду не позволяли себе усомниться в том, что вся та ходульная романтика и чудовищная ложь, которую мы городили, — есть доподлинная истина.

Впрочем, нам — двадцатилетним — нужно было, наверное, как-то для самих себя оправдать все то непонятное и страшное, что происходило в мире. Возможно, если, размышляя и раздумывая, мы прозрели бы уже в те годы, мы бы задохнулись и не смогли жить!

Да и в самой, какой-то слегка «вечериночной», взвинченной атмосфере Студии была, видимо, особая притягательная сила — в группу так называемых «друзей Студии» входили и многие уже известные писатели, и студенты из ИФЛИ и Литературного института, и даже знаменитый боксер Николай Королев.

Пятого февраля 1941 года спектаклем «Город на заре» Студия открылась и стала существовать как театр.

У меня до сих пор хранится наша первая афиша, на которой авторами пьесы и спектакля были названы, в алфавитном порядке, все студийцы.

Честно говоря, я просто не помню другой подобной премьеры: толпы студенческой молодежи, жаждущей попасть на спектакль, буквально осаждали театр, в зрительном зале люди стеною стояли в проходах, сидели вдоль рампы на полу.

Так было на первом, на втором и на третьем спектакле. А на четвертом — толпа поредела.

А последующие спектакли мы играли уже и вовсе при полупустом зале.

Что же произошло? Вероятно, рядовому зрителю было наплевать на наши формальные изыски — введение хора, использование приемов японского театра и комедии дель арте, — а сама пьеса про очередное строительство и очередное вредительство его, рядового зрителя, привлечь не могла.

Двадцать второго июня, в день начала войны, Студия как-то сразу перестала существовать. Большинство студийцев — не только мужчины, но и женщины — уйдут на фронт, и многие, среди них и сын поэта Эдуарда Багрицкого — Всеволод, — погибнут. Вместе с Сеовой и другим студийцем, впоследствии известным драматургом Исаем Кузнецовым, мы написали пьесу «Дуэль», которую Студия репетировала до самого последнего дня своего существования.

А меня в армию не взяли. Уже первые врачи — терапевт, глазник и невропатолог на медицинской комиссии в райвоенкомате — признали меня по всем основным статьям негодным к отбыванию воинской повинности.

Тогда, чтобы хоть что-то делать, я устроился коллектором в геологическую экспедицию, уезжающую на Северный Кавказ.

Но доехали мы только до города Грозного — дальше нас не пустили.

Возвращаться в Москву казалось мне бессмысленным — там в эту пору не было ни близких, ни друзей.

...Из грязной и шумной, похожей на огромное bestолковое общежитие гостиницы «Грознефть» я перебрался на частную квартиру — в маленькую комнатенку в маленьком домике, стоявшем

в саду на спокойной окраинной улице Алхан-юртовской.

Как-то неожиданно легко я устроился завли-том в городской Драматический театр имени Лермонтова, начал переводить чеченских поэтов — и с некоторыми из них подружился, организовал с группой актеров и режиссером Борщевским «Театр политической сатиры».

Я писал для спектаклей этого театра песни и интермедии. Песни были лирические, интермедии идиотские. В некоторых из них я сам играл.

...Испуганный помреж вбежал в мою актерскую уборную, где я сидел перед зеркалом и с отражением отклеивал рыжие усы — я только что изображал какого-то немецкого полковника.

— Александры! — больше, чем обычно, коверкая слова, задыхаясь, проговорил помреж. — Иди... Скорей иди... Тебя в правительственную ложу зовут.

«Правительственной» называлась у нас в театре ложа, где на премьерах и парадных спектаклях сидели ответственные чины из обкома партии и горсовета.

— Брось разыгрывать! — сказал я помрежу. — Я же смотрел со сцены — там сегодня никого нет!

— Там есть! — трагическим шепотом выдохнул помреж и схватился за голову. — Там Юля Дочаева... Иди скорей!

...Знаменитую грозненскую красавицу, жену одного из секретарей обкома партии Юлию Дочаеву я до этого вечера видел только один раз: на коне, в мужском седле, она лихо промчалась по центральной улице, провожаемая восторженным

цоканьем мужчин и осуждающим шепотом женщин.

...Она была худенькой, темноглазой и темно-волосой. У нее был низкий, тихий и очень спокойный голос.

— Здравствуй! — сказала она и протянула руку.— Ты из Москвы?

— Да,— сказал я, с первой же секунды отчаянно влюбляясь в нее.

— Я тоже из Москвы,— сказала Юля,— училась на медицинском, собиралась врачом, на Сахалин, а мой дикарь приехал на какой-то пленум и похитил меня...

Она засмеялась.

— А тебе сколько лет?

— Двадцать два. Завтра, девятнадцатого октября, в день годовщины открытия Пушкинского лица — мне исполняется двадцать два!

Я проговорил эту тираду слегка хвастливо, так как всю жизнь почему-то чрезвычайно гордился этим случайным совпадением.

А Юля снова засмеялась, а потом сказала быстро и тихо:

— Я приду тебя поздравить, хочешь? Ты где живешь?

— Алхан-юртовская, сто десять.

Юля кивнула.

— Я приду. У меня завтра ночное дежурство в больнице, но часов в двенадцать я постараюсь сбежать... Ты меня жди!

...Я начал ее ждать с утра.

Мне удалось путем неслыханной лести и еще более неслыханных посулов выпросить у администратора театра бутылку спирта, потом, пользуясь все той же лестью и посулами, я уговорил мою хозяйку испечь ее коронное блюдо — тыквенный

пирог. Потом я отправился на базар — купил яблок, слив и цветов.

Базар был в этот день как-то странно и подозрительно малолюдн, но я не обратил на это внимания.

Уже приготовив все для вечернего пира, я принялся просто слоняться по городу — думал о Юле и влюблялся в нее все больше и больше.

А между прочим, вокруг меня в этот день происходили события, на которые, будь я в здравом уме, следовало бы обратить внимание: куда-то за черту города тянулся поток стариков и детей, проезжали телеги с убогим скарбом, плелись навьюченные ослики и к обычному запаху грозненской пыли примешивался сладковатый и ядовитый запах дыма — во время одного из разведывательных налетов немцы бросили зажигательную бомбу в нефтяной резервуар, и вот уже третьи сутки над городом и днем и ночью стояло невысокое радужное зарево.

Вечером пошел дождь. Лаяли собаки — безостановочно и надсадно.

В сотый раз я оглядел свою комнату: в центре стола красовался тыквенный пирог, цветы я расставил по всем углам и зажег свечи.

Тогда еще не было написано замечательное стихотворение Пастернака, еще не пришла мода ужинать при свечах — просто свет в городе вырубали в девять часов вечера, а керосиновая лампа стояла на рынке целое состояние.

Я ходил по комнате и сочинял для Юли стихи.

В тот первый военный год я написал довольно много стихов, но черновики я растерял, стихи позабыл, а вот эти две альбомные строфы почему-то запомнил.

Лают азиатские собаки,
Гром ночной играет вдалеке...
Мне б ходить в черкеске и папахе,
А не в этом глупом пиджаке!

Мне б кинжал у талии осиною
И коня — земную благодать,
Чтоб с тобою, с самою красивой,
На скаку желанье загадать!..

Еще задолго до двенадцати я услышал быстрый и тихий стук.

Как во многих южных домах, дверь моей комнаты открывалась прямо на улицу. Сначала, в дождливой темноте, которую не подсвечивало даже зарево пожара, я вовсе ничего не мог различить. Потом, взглядевшись, я увидел странное зрелище — двух оседланных лошадей.

— Что такое? — спросил я. — Кто?

— Тихо! — проговорил кто-то шепотом, невысокая фигура в бурке отделилась от лошадей, и я узнал своего приятеля, поэта Арби Мамакаева, которого за буйный нрав называли чеченским Есениным. — Собирайся, Александр, поехали!

— Куда? — изумился я.

Арби притянул меня к себе за плечи и зашептал мне в самое лицо:

— У нас точные сведения... Немцы будут в Грозном через неделю... Ты чужой, ты еврей, ты дурацкие спектакли играл — тебя сразу повесят! А в горах мы тебя спрячем! Поскакали!..

А я никуда не мог ехать — я ждал Юлю!

— Я не поеду, Арби, — сказал я.

— Ты совсем дурак? — грозно спросил меня Арби.

— Слушай, — попытался я найти компромисс, — вот что — приезжай за мной утром.

— Ты совсем дурак! — уже утвердительно

повторил Арби.— Я сейчас еле проехал... Патрули всюду... Ты поедешь?

— Нет,— сказал я.

Арби молча сплюнул, повернулся ко мне спиной и медленно, тихо увел лошадей в темноту.

А Юля не пришла. А я, под утро, свалился в приступе жесточайшей лихорадки — у меня время от времени бывают такие непонятные приступы, которые не сумел разгадать еще ни один врач.

Дня через два меня пришли проведать актеры нашего театра.

Они рассказали мне, что в ночь с девятнадцатого на двадцатое октября — в ту самую ночь — муж Юли Идрыс Дочаев в начале двенадцатого застрелился в своем служебном кабинете.

Командование Северо-Кавказского военного округа отдало распоряжение — прочесать горные аулы и выловить всех уклоняющихся от воинской службы. Ответственным за эту операцию был, по неизвестным причинам, назначен штатский человек Идрыс Дочаев. Снова, в который раз, проявила себя во всем блеске мудрая национальная политика Вождя народов: поручить чеченцу возглавить карательный рейд по чеченским аулам — большее оскорбление и унижение трудно было придумать.

А немцы до Грозного так и не дошли.

Когда Отец родной повелел выслать чеченцев и ингушей в отдаленные районы Казахстана — Юля, русская Юля, уже не жена чеченца, уехала вместе со всеми. Попала она куда-то под Караганду и меньше чем за полгода сгорела от туберкулеза.

Многие говорили, что ей повезло!

...Через Баку и Красноводск я добрался до города Чирчика, где собрались во главе с Валентином Плучеком остатки Студии. В немыслимо короткий срок мы подготовили два спектакля и несколько концертных программ, написали письмо в Политуправление Советской армии с просьбой оформить нас как фронтовой театр, получили это разрешение и всю войну проездили по армейским частям, играя спектакли и концерты.

С концом войны театр распался.

...Людам, как бы не менялись они с годами, трудно отделаться от сентиментально-снисходительного отношения к собственной юности: еще в конце сороковых и начале пятидесятых годов мы — уцелевшие участники спектакля «Город на заре» — созванивались, а порою и встречались в день пятого февраля, день премьеры.

Когда в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году драматург Алексей Арбузов опубликовал эту пьесу под одной своей фамилией, он не только, в самом прямом значении этого слова, обокрал павших и живых.

Это бы еще полбеды!

Отвратительнее другое — он осквернил память павших, оскорбил и унизил живых!

Уже зная все то, что знали мы в эти годы, — он снова позволил себе вытащить на сцену, попытаться выдать за истину ходульную романтику и чудовищную ложь: снова появился на театральных подмостках троцкист и демагог Борщаговский, снова кулацкий сынок Зорин соблазнял честную комсомолку Белку Корневу, а потом дезертировал со стройки, а другой кулацкий сынок Башкатов совершал вредительство и диверсию.

Политическое и нравственное невежество нашей молодости — стало теперь откровенной подлостью.

В разговоре с одним из бывших студийцев я высказал как-то все эти соображения. Слова мои, очевидно, дошли до Арбузова — и пятнадцать лет спустя, на заседании Секретариата, на котором меня исключают из членов Союза советских писателей, Арбузов отыграется, Арбузов возьмет реванш и назовет меня «мародером».

В доказательство он процитирует строчки из песни «Облака»:

Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял...
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям!..

— Но я же знаю Галича с сорокового года! — патетически воскликнет Арбузов.— Я же прекрасно знаю, что он никогда не сидел!..

Правильно, Алексей Николаевич, не сидел! Вот, если бы сидел и мстил,— это вашему пониманию было бы еще доступно! А вот так, просто, взваливать на себя чужую боль, класть «живот за други своя» — что за чушь!

Потом голосом, исполненным боли и горечи, Арбузов скажет еще несколько прочувствованных слов о том, как потрясен он глубиной моего падения, как не спал всю ночь, готовясь к этому сегодняшнему судилищу.

Он будет так убедительно скорбеть, что все выступающие после него, словно позабыв, на какой предмет они здесь собрались, станут говорить не столько обо мне и моих прегрешениях, сколько о том, как потрясла и взволновала их речь Арбузова, будут сочувствовать ему и стараться помочь.

Не медведи, не львы, не лисы,
Не кикимора и сова —
Были лица — почти как лица,
И почти как слова — слова.

За квадратным столом по кругу
(В ореоле моей вины!)
Все твердили они друг другу,
Что друг другу они верны!..

Так завершится мое очень долгое, затянувшееся больше чем на четверть века, прощание с театром! От резолюции Леонида Мироновича Леонидова до заседания Секретариата!

Бросив в конце войны актерство и занявшись драматургией,— я все равно как бы оставался в мире театра.

Потом я начну прощаться и с драматургией — это будет после того, как подряд запретят мои пьесы: «Матросскую тишину» и «Август», — а последнюю точку, как ни странно, поставит Арбузов.

Он так прямо и скажет:

— Галич был способным драматургом, но ему захотелось еще славы поэта — и тут он кончился!

Ну, что ж,— кончился, так кончился. Я ни о чем не жалею. Я не имею на это права. У меня есть иное право — судить себя и свои ошибки, свое проклятое и спасительное легкомыслие, свое долгое и трусливое желание верить в благие намерения тех, кто уже давно и определенно доказал свою неспособность не только совершать благо, а просто даже понимать, что это такое — благо и добро!

Я ни о чем не жалею.

Это раньше я бессмысленно и часто сокрушался по разным поводам.

Пути Господни неисповедимы, но не случай-

ны. Не случайна была та бессонная ночь в вагоне поезда Москва — Ленинград, когда я написал свою первую песню «Леночка».

Нет, я и до этого писал песни, но «Леночка» была началом — не концом, как полагал Арбузов,— а началом моего истинного, трудного и счастливого пути.

И нет во мне ни смирения, ни гордыни, а есть спокойное и радостное сознание того, что впервые в своей долгой и запутанной жизни я делаю то, что положено было мне сделать на этой земле.

Это гордыня? Не знаю. Надеюсь, что нет!

...Бутылочная и кирпичная, с просветленными лицами, вернулись в зал и, сморкаясь, заняли свои места в первом ряду.

И тотчас же, словно кто-то подсматривал в глазок занавеса (впрочем, так оно, наверное, и было), в зале погас свет и в луче бокового софита снова появился Олег Ефремов.

Прислушиваясь к звукам далекого марша, он медленно начал слова вступления ко второму действию:

— Юность. Москва. Май тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Строительные леса на улице Горького. Открытые бежевые «линкольны» возят по городу иностранных туристов: туристы вежливо улыбаются, вежливо восхищаются, вежливо задают двусмысленные вопросы — главным образом об исчезающих за ночь портретах — и с некоторой опаской поглядывают на девушек-переводчиц.

...Марш звучал громче.

Ефремов, не двигаясь, продолжал:

— По вечерам не протолкаться на танцевальных площадках, в цветочных киосках продают,

нарасхват, ландыши и сирень, а на площади Пушкина, у фотовитрины «Известий» с утра и до ночи толпится народ, разглядывая фотографии далекой Испании, где фашистам все еще не удалось отрезать от Мадрида Университетский городок.

В тот год мы окончательно стали москвичами. Еще совсем недавно — робкие провинциалы — мы впервые, разинув рты, бродили по набережным, почтительно следовали правилам уличного движения, ездили, восхищаясь, в метро и писали длинные, восторженные и подробные письма домой...

Ефремов улыбнулся:

— Потом письма стали короче. Всего несколько слов — о том, что мы здоровы, об институтских отметках и о том, что нам опять очень нужны деньги. Мы научились торопиться. Мы были одержимы, влюблены, восторженны и упрямы... Нам исполнилось девятнадцать лет!

Пошел занавес. Ефремов стал к залу вполоборота и сказал, указывая рукою на декорацию и действующих лиц:

— Вечер. Комната в общежитии студентов Московской консерватории. Две кровати, два стула, две тумбочки и большой стол, у которого табурет заменяет отломанную ножку. На стене пыльная гипсовая маска Бетховена.

Давид в тапочках, в теплой байковой куртке, с завязанным горлом, расхаживает по комнате. Он играет на скрипке, зажав в зубах докуренную до мундштука папиросу. Таня — тоненькая, ясноглазая — караулит у электрической плитки закипающее молоко...

Ефремов незаметно скрылся в кулисе.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Во втором антракте мы с женой быстро и молча поднялись и пошли курить.

Мы стояли в курилке, возле урны — с двух сторон, как часовые,— часто и с отвращением глотали дым.

— Во втором действии Евстигнеев был лучше,— сказала жена.

— Да,— сказал я,— а в третьем действии он будет еще лучше... Только это не имеет никакого значения!

— Да,— согласилась жена,— разумеется.

Помолчав, она спросила.

— Ты очень огорчен?

— Нет,— сказал я,— все давно ясно... Это ребята на что-то еще надеются!..

И в ту же секунду, точно в подтверждение моих слов, в курилку вбежал, влетел, ворвался Олег Табаков — в белой рубашке, заправленной в ватные штаны, и в тапочках на босу ногу. Во втором действии он исполнял роль Славы Лебедева, а в третьем будет играть роль «сына полка» Женьки Жаворонкова. В ту пору основной состав Студии насчитывал человек двадцать и ряд актеров, занятых в моей пьесе, играли по две роли.

...Как странно мне бывает теперь — изредка, очень изредка — встречаться и церемонно раскланиваться с важным и представительным директором театра «Современник» Олегом Павловичем Табаковым!..

Милое мальчишеское лицо Табакова блесло от пота.

Он подбежал ко мне и проговорил задыхающимся, плачущим голосом:

— Александр Аркадьевич, ребята просят...
Ну, вы поговорите там с кем-нибудь!

— С кем, Олег? — изумился я.

— Ну, я не знаю... Ну, с этими — Соколовой, Соловьевой, черт их там разберет!

— О чем говорить? — спросил я.

Откуда-то раздался отчаянный вопль:

— Табаков?! Давай по-быстрому!..

Олег махнул рукой и убежал.

Мы с женою переглянулись. Ничего еще, по сути, не было сказано, но тоскливое чувство обреченности, предрешенности, безнадежности и бессмысленности всего, что происходит, — это чувство, так всевластно царившее в зале, уже перелетело по каким-то неведомым законам через рампу и дошло до исполнителей.

— Ну, что ж, пойдём, — сказал я жене.

— Пойдем, — сказала она. — Может быть, ты хочешь зайти за кулисы? Посоветоваться? Может быть, действительно, еще что-то можно предпринять?

— Нет, — сказал я.

Мы вернулись в зрительный зал, заняли свои места.

Товстоногов, по-прежнему сидевший в стороне, неожиданно обернулся и, через несколько пустых рядов, разделявших нас, сказал мне негромко, но внятно, так что слова эти были хорошо слышны всем:

— Нет, не тянут ребята!.. Им — эта пьеса — пока еще не по зубам! Понимаете?!

Солодовников внимательно, слегка прищурившись, поглядел на Товстоногова.

На бесстрастно-начальственном лице изобразилось некое подобие мысли. Слово было найдено! Сам того не желая, Товстоногов под-

сказал спасительно обтекаемую формулировку.

Ничего не нужно объяснять, ничего не нужно запрещать, что касается автора, то он волен распоряжаться собственной пьесой по собственному усмотрению, что же касается студийцев, то это, в конце концов, неплохо, что они в учебном порядке поработали над таким чужеродным для них материалом,— а теперь надо искать соответствующую, близкую по духу, жизнеутверждающую драматургию — спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперед и выше, товарищи!

Все это Солодовников выпалит за кулисами, после конца спектакля, бодрой, слегка пришепывающей скороговоркой. Потом он пожмет руку мне, пожмет руку Ефремову, еще раз — благодарно — улыбнется всем участникам спектакля и быстро, не допуская никаких вопросов, уйдет.

И все будет кончено!..

...А из-за закрытого занавеса раздавался стук молотков, невнятные голоса, что-то грохотало, что-то падало.

Декорация третьего действия — учитывая отсутствие настоящих декораций — была наиболее сложной. Действие происходит в санитарном поезде, в так называемом «кригеровском» вагоне для тяжелораненых.

...Мне в подобном вагоне лежать не приходилось, а вот выступать, в войну, доводилось не раз. Чувствуя, как першит в горле от сладковатого запаха карболки, йода, запекшейся крови, я читал «Графа Нулина», пел под гитарный аккомпанемент частушки.

Я сочинял их обычно тут же, на ходу, после

предварительного разговора с комиссаром или начальником поезда.

Частушки эти были крайне незамысловатыми, но зато в них упоминались подлинные имена раненых и медицинского персонала, описывались подлинные события — чаще всего комедийные, — и поэтому они пользовались неизменным, незаслуженно шумным успехом.

После концерта нас обычно вели в вагон-столовую — кормить ужином.

Санитарки — «хожалочки» — всегда милые, в белых халатиках, перетянутых в талии, в кокетливо примятых белых шапочках, подавали нам еду в жестяных мисках, посмеивались и перемигивались.

А потом появлялся начальник поезда, садился во главе стола, делал выразительный жест большим пальцем правой руки — и все догадливо хихикали — артист, он, мол, и есть артист, ему без ста граммов никак невозможно!

Приносили бутылки со спиртом и большие кружки. Спирт наливали в граненые стаканы, а в кружку воду — запивать.

Тот же начальник, как правило, произносил первый тост — за родного, любимого, дорогого вождя и учителя, гениального полководца всех времен и народов товарища Сталина, который ведет нас от победы к победе.

И мы все, стоя, в торжественном молчании — а кое-кто и со слезами на глазах — пили за этот тост.

Постукивали колеса поезда, проносились за окнами, не впечатываясь в сознании, какие-то перелески и разбитые проселки, дребезжали на столе, покрытом клеенкой, миски, кружки, стаканы.

А мы пили спирт, и в груди у нас что-то теплело, мы смотрели друг на друга с участием и любовью — нам было хорошо! Ах, как нам было хорошо!

Мы все вместе — пусть каждый по-своему — делали одно великое общее дело: мы защищали нашу Родину, наше прекрасное прошлое и еще более прекрасное будущее, наши светлые коммунистические идеалы, нашу свободу, равенство, братство.

И почти с той же неизменностью, как первый тост, появлялась в разгаре ужина какая-нибудь санитарка или нянечка, подходила, смущаясь, к начальнику поезда, что-то негромко говорила ему.

И начальник смотрел на меня, ухмылялся:

— Извините, вас, товарищ артист, в «кригеровский» вагон просят... Очень хотят снова частушки прослушать!..

Начальник ухмылялся еще шире:

— Ну, насчет Дорофеева и других...

И я поднимался, выходил из-за стола, брал гитару и шел в «кригеровский» вагон для тяжело-раненых — петь частушки про Дорофеева и других.

«Кригеровский» вагон для тяжелобольных! Санитарный поезд!

Пожалуй, это единственное лечебное заведение, в котором я только выступал, а не лежал сам. Я валялся в полевых-походных и тыловых госпиталях — с ожогом второй степени, с флегмоной, с подозрением на бруцеллез.

После войны, когда у меня совершенно неожиданно обнаружилась тяжелая болезнь сердца, я не реже чем раз в два года — а порою и значи-

тельно чаще — попадал в какую-нибудь очередную больницу.

Я лежал, случалось, и в привилегированных отделениях, принадлежащих Санитарному управлению Кремля, — в отдельных палатах с собственным санузелом, где только на одно питание выделяется два рубля тридцать копеек в день на человека.

Отделения эти у простых смертных называются «Отделениями для слуг народа».

И лежал я в отделениях «для народа»: в палатах по двадцать—двадцать пять человек, где, чтобы попасть в уборную, надо становиться в очередь, где дозваться нянечку или сестру можно только после получасового непрерывного крика — звонков нет, и где питание обходится в семьдесят копеек.

Разумеется, я никогда не лежал в лечебницах для самых главных «слуг народа», для самых бескорыстных и беззаветных его слуг — в «Кремлевке», в Барвихе, в Кунцеве.

О том, какие условия и какие яства подаются там, — рассказывают только шепотом, недоверчиво покачивая головами и молитвенно закатывая глаза.

Впрочем — и условия, и яства для больного человека, для действительно больного человека, все-таки — дело второстепенное. Гораздо важнее другое — уход и лекарство. Так вот, с лекарствами в отделениях «для народа» особенная беда. Я уж не говорю о редких заграничных препаратах, анальгина и кодеина — и тех не допресишься!

...У меня на глазах в отделении гнойной хирургии московской Боткинской больницы тридцатилетний прелестный парень Сергей Донцов —

школьный учитель из-под Смоленска — в течение трех недель превратился из человека в животное, в жесточайшего и законченного наркомана.

Возвращаясь из школы домой, он попал в пургу, сбился с пути, обморозил ноги. В результате — тяжелейший эндартериит.

Боли адские, которые снимались только большими дозами анальгина.

Но в одной из главной больниц Москвы — в знаменитой Боткинской больнице, в отделении гнойной хирургии — анальгин в необходимых количествах больным выдавать не могут: слишком дорогое лекарство, целых тридцать две копейки пачка.

Значительно проще снять боль инъекцией морфия — ампула морфия стоит около двух копеек.

Сначала Донцову кололи морфий два раза в сутки, а в промежутках он потихоньку глотал анальгин, который приносила ему моя жена.

Но постепенно дозы морфия все увеличивались — три раза в сутки, четыре раза в сутки.

А когда я выписывался, милого, золотоголового, с белозубой улыбкой Сережу Донцова уже невозможно было узнать. Он сидел в постели, полузакрыв глаза, страшный, взлохмаченный, с какими-то черными запекшимися губами, покачивался из стороны в сторону и непрерывно, на одной протяжной звериной ноте, то выл, то матерился и требовал морфия.

А его жалели. И ему давали морфий. И врачи не виноваты. И сестры не виноваты. И вообще никто не виноват.

Да здравствует одно из величайших достижений советской власти — всеобщая бесплатная медицинская помощь!

А начальник мой, а начальник,
Он в отдельной палате лежит.
Ему нянечка шторку повесила,
Создают персональный уют!
Возят к гаду еврея-профессора...

Сколько их было в моей жизни — профессоров, врачей, сестер, нянечек! Сколько их было — умных и не слишком, опытных и еще совсем зеленых, добрых и сердитых, талантливых и просто «трудяг».

Я не каждого помню по имени, но всем им низко кланяюсь в ноги — спасибо вам, дорогие, спасибо вам за ваше терпение и усердие, за ваш благородный, каторжный, бескорыстный труд.

А бескорыстным он был в самом доподлинном смысле — до недавнего времени труд медицинских работников, наравне с трудом учителей, был в нашей стране, по оплате, одним из самых нищенских.

Потому-то в пятидесятые и шестидесятые годы так мало было среди врачей мужчин — только именитые старики, а в остальном все больше женщины.

Про одну из таких замечательных женщин, про хирурга Анну Ивановну Гошкину, я не могу, не имею права не рассказать!

...Ночью в ленинградской гостинице я почувствовал, что у меня начинается приступ стенокардии. Принял нитроглицерин — не помогло. Тогда я попросил дежурного по этажу вызвать врача.

Приехала «неотложная помощь», врач сделала мне инъекцию, мне стало легче, и я уснул.

А на утро меня начал бить сумасшедший болевой озноб, температура поднялась до сорока

с десятиными, рука на месте укола покраснела и вспухла.

Я позвонил друзьям. Они примчались в гостиницу и после долгих совещаний — совещания, даже дружеские, не бывают у нас короткими — решили перевезти меня на квартиру нашей общей знакомой биолога-генетика Раисы Львовны Берг.

Несколько дней я пролежал у Раисы Львовны, не решаясь дать знать о своей болезни в Москву. А мне становилось все хуже. Температура не падала, домашние средства, которыми меня пытались лечить, не помогали.

Тогда я все-таки поднялся и, обливаясь потом, на подгибающихся ватных ногах, добрался до телефона и позвонил в Москву жене.

...Уже через три часа после моего звонка она была в Ленинграде. Она почему-то прилетела в шубе, хотя стоял невероятно жаркий апрель, и в первые часы была совершенно растеряна и подавлена. Она тыкалась, как слепой щенок, из угла в угол — а углов в квартире Берг достаточно — и соглашалась со всем, что ей говорили.

Говорили: его надо отправить в больницу — она соглашалась.

Говорили: надо лечить дома — она тоже соглашалась.

Но на следующий день, проведя бессонную ночь на продавленной раскладушке, она взяла себя в руки — в трудные минуты она всегда умеет взять себя в руки — и принялась действовать.

На счастье, мы с нею оба не вспомнили о Союзе писателей и Союзе кинематографистов — в ту пору я еще был членом и того, и другого Союза, — а просто нашли знакомых

врачей, которые и устроили меня в самую обыкновенную Городскую клиническую больницу имени Эрисмана, в отделение общей хирургии.

А позвони мы, между прочим, в один из Союзов — меня бы непременно, как московского гостя,— устроили бы в «Свердловку» (ленинградский вариант «Кремлевки»), где бы я и отдал, как говорится в просторечии, концы!

...Меня ввезли на каталке в огромную, человек на тридцать, палату. Все кровати у стен были заняты, и каталку оставили стоять посредине. На какое-то время я провалился в беспамятство — температура в это утро была уже сорок один градус.

Когда я очнулся, я увидел, что у моей каталки стоят двое: седой старик с морщинистым смуглым лицом и раскосыми глазами — это был профессор, заведующий отделением, и его хитроумную татарскую фамилию мне так ни разу и не удалось выговорить правильно; и рядом с ним, тоже пожилая, женщина с широким, добрым и каким-то домашним — я не могу подобрать другого слова — лицом.

И именно домашним, а не врачебным движением она положила ладонь на мой лоб, вздохнула и покачала головой.

Профессор наклонился ко мне:

— Сейчас вам сделают обезболивающий укол и отвезут в операционную... Вас будет оперировать наш ведущий хирург — Анна Ивановна Гошкина.

Анна Ивановна покивала мне.

— А почему так сразу? — спросил я.

— А потому что, голубчик, плохо дело,— чрезвычайно спокойно, как-то даже уютно, сказала Анна Ивановна,— очень плохо дело!..

Как ни странно, эти ее слова ничуть не взволновали меня.

Анна Ивановна вообще не принадлежала к породе тех врачей-оптимистов, которые, входя в палату, игриво тычут больного пальцем в живот и спрашивают:

— Ну-с, как поживает наш рачок?!

Напротив, еще много дней после первой, а потом и после второй операции Анна Ивановна, осматривая меня или делая мне перевязку, будет сокрушенно покачивать головой и повторять свое — плохо дело, очень плохо дело!

А дела мои, кстати, были и вправду довольно плохи.

Врач из «неотложной помощи» занесла мне, делая укол, тяжелейшую инфекцию — золотистый стафилококк. В результате — заражение крови, рожистое воспаление отечной формы и флегмона.

В первые недели моего пребывания в больнице большинство врачей считали, что самым благоприятным исходом будет ампутация руки. И только Анна Ивановна не преминула сказать:

— Плохо дело! — и добавляла: — А руку мы ему все-таки попытаемся спасти!

Уже старая женщина, она приходила в клинику раньше всех — всегда без четверти восемь утра.

А уходила, случалось, чуть не за полночь. Она не только оперировала, перевязывала и вела факультетские занятия со студентами — она, с неменьшей охотой, ассистировала другим хирургам, сама, не дожидаясь, пока это сделают сестры или санитарки, перевозила больных на каталке из перевязочной в палату. Она, порою, сама мыла своих больных.

В войну Анна Ивановна работала фронтовым хирургом.

Мне рассказывали, что однажды, когда она перевозила в санитарной машине раненых через Ладогу по знаменитой «ледовой дороге», случайным шальным осколком убило шофера. Тогда Анна Ивановна, не имевшая ни малейшего понятия, как надо водить машину, села за руль и под обстрелом немецкой артиллерии благополучно доставила раненых на тот берег, в полевой госпиталь.

Когда я как-то в перевязочной спросил ее об этом, она лаконично ответила:

— Пришлось.

...После первой операции меня перевели из огромной палаты в маленькую комнатенку, изолятор для особо тяжелых больных, и разрешили, вернее даже попросили, мою жену круглосуточно дежурить возле меня.

Она и дежурила круглосуточно — спала, сидя на стуле около моей постели или в коридоре, в кресле или, изредка, когда кто-нибудь умирал, ей удавалось полежать часок-другой на незастеленной койке.

За день, на опухших от усталости ногах, она проходила с доброй десяткой километров по бесконечно длинным коридорам клиники: то на кухню сварить мне кофе или что-нибудь приготовить, то к сестре-хозяйке за чистой наволочкой или полотенцем — рана моя непрерывно кровоточила.

Я смутно помню эти дни. Мне становилось все хуже. Температура держалась, отек угрожающе поднимался все выше, к плечу, не помогало ничто — ни бесконечные переливания крови, ни удвоенные дозы антибиотиков.

Я бредил, распевал какие-то песни без слов —

жена потом смеялась, что хорошо, что без слов, — разговаривал с отсутствующими собеседниками.

В редкие минуты просветления я сочинял стихи — читать я не мог.

...В первомайский вечер, когда над всем Ленинградом гремела веселая музыка и в почти светлом небе плясали лучи прожекторов, дежурный хирург, осмотрев меня, решительно сказал:

— Сейчас вас подготовят... Необходима — и немедленно — повторная операция!

Честно говоря, мне эта вторая операция улыбалась не слишком, и я попытался схитрить:

— Ну, какая же операция — Первое мая! И потом — это даже как-то неудобно — моего хирурга, Анны Ивановны, нету сегодня...

Дежурный врач, не дослушав меня, быстро вышел из палаты.

Успокоенный, я задремал. Я дремал, как мне казалось, не больше пяти минут, а когда открыл глаза — возле моей кровати стоял профессор — заведующий отделением, Анна Ивановна, еще несколько врачей.

Из-под белых халатов выглядывала парадная праздничная одежда.

— Ну, поехали! — мирно сказала Анна Ивановна, наклонилась, приподняла меня — откуда у нее только сила бралась?! — и с помощью сестры переложила на каталку.

...Анна Ивановна! Милая моя, прекрасная Анна Ивановна!

Я вам обязан не только жизнью и не только тем, что у меня остались обе руки!

Знаете, когда я — в самую, казалось бы, неподходящую минуту — вспомнил о вас?

Сейчас я вам расскажу!

Происходило это, между прочим, все в том же семьдесят первом году, весной которого я лежал в вашей клинике. Но только теперь уже был декабрь, самые последние дни декабря, веселая и оживленная предновогодняя суетня.

В здании Центрального дома литераторов было шумно, людно.

В малом зале шла бойкая торговля — писателей снабжали всевозможной снедью к праздничному столу, в ресторане устанавливали огромную елку, развешивали цветочные и электрические гирлянды.

А наверху, на втором этаже, в комнате номер восемь, которую еще называют «дубовым залом», шло заседание секретариата Московского отделения Союза советских писателей и вопрос на повестке дня стоял один-единственный: об исключении писателя Галича Александра Аркадьевича из членов Союза советских писателей за несоответствие его — Галича — высокому званию члена данного Союза.

...Я сидел в удобном кресле, курил и с интересом слушал, что говорил обо мне Аркадий Васильев — тот самый, что выступал общественным обвинителем на процессе Синявского и Даниэля; что кричал обо мне некто Лесючевский, которого в конце пятидесятых годов чуть было тоже, под горячую руку, не исключили из Союза, когда была доказана его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве стукача и доносчика, но потом его, конечно, простили — такие люди всегда пригодятся — и даже назначили директором издательства «Советский писатель» и ввели в члены секретариата Московского отделения.

Мне было крайне интересно узнать, что думает обо мне неистовый человеконенавистник Нико-

лай Грибачев. А он думал обо мне, бедном, очень плохо. Он просто ужасно обо мне думал!

И знаете, Анна Ивановна, именно во время его гневной и пламенной речи я вдруг представил себе, что вот здесь, сейчас, на этом секретариате, сидите и вы, Анна Ивановна Гошкина, фронтовой хирург, врач, человек среди человекоподобных.

Однажды в дубовой ложе
Был поставлен я на правез —
И увидел такие рожи,
Пострашней балаганных рож!..

Простите меня, Анна Ивановна, но я вовсе не тешу себя иллюзиями, я не сомневаюсь, что вы поверили бы всему, что говорилось обо мне на этом судилище: и о моих связях с сионистами, и о моей дружбе с антисемитами, и о моих заигрываниях с церковниками,— поверили бы и Аркадию Васильеву, и Лесючевскому, и Грибачеву, и всем этим пузырям земли: лукониным, медниковым, стрехниным, тельпуговым.

Вы давно уже, Анна Ивановна, не то чтобы приняли, а равнодушно привыкли к правилам этой подлой игры, этого шаманства: вы читаете на ходу газеты, слушаете — не слушая — радио, сидите долгие часы на профсоюзных и партийных собраниях.

Смертельно усталая, вы голосуете за решения, смысл которых вам не очень-то понятен и уж вовсе не важен — куда важнее, начался ли отток гноя у больного А. и не подскочила ли опять температура у оперированной вчера Б. Вас закружили в этом шутовском хороводе, и у вас нет ни времени, ни сил выбраться из него, остановиться, встряхнуть головой, подумать.

Еще раз простите меня, Анна Ивановна, но я даже уверен, что если бы вам на этом достопамятном секретариате предложили принять участие в голосовании — вы, как и все, проголосовали бы за мое исключение. Это одно из правил игры в советскую демократию — решение должно быть, решение не может не быть единогласным.

Но я не сомневаюсь и в другом — если бы на следующий день меня снова на скрипучей каталке ввезли бы в операционную вашей клиники — вы надели бы ваш клеенчатый фартук и приказали бы хирургической сестре готовить инструменты, и бинты, и тампоны и, позабыв обо всех моих смертных грехах, так же точно, как тогда, не обращая внимания на усталость и время, вступили бы в борьбу за мою жизнь.

Потому что здесь, на пороге операционной, перестают действовать правила той подлой игры, потому что здесь вы становитесь тем, кто вы есть — человеком, цель и назначение которого приносить людям добро, облегчать страдания страждущих.

Бедная, счастливая, несчастная Анна Ивановна!

...Очнулся я после повторной операции уже под утро.

Откуда-то, очень издалека, доносились протяжные поющие голоса — последние празднователи расходились по домам. Из окон на мою постель падал странноватый желто-молочный свет, и свет этот пронизывал тоненький луч солнца, высвечивая запеленутую бинтами и скованную лубком — лангеткою — руку и серебряную голову моей жены. Она спала на низком неудобном стуле, положив голову мне на ноги.

Почувствовав, что я очнулся, она слегка приоткрыла глаза:

— Тебе что-нибудь нужно?

— Нет,— сказал я,— мне лучше, Асенька?

— Нет,— сказала она и снова закрыла глаза,— тебе еще не лучше!

И я успокоился. Мне почему-то стало очень спокойно и даже радостно. И я сказал этому мгновению: остановись, запомнись — ныне, присно и во веки веков! Амины!

Навсегда запомнись, это мгновение, и совсем не потому, что ты было прекрасно! Ты больше, чем просто прекрасно!

Ты мгновение, ты секунда того высшего душевного покоя, когда вдруг приходит к человеку понимание, что он на земле не один, что есть, существуют человеческие судьбы, связанные с его судьбой, так же, как и он связан с ними, и связь эта нерасторжима и определена чем-то высшим, нежели обстоятельства или случай.

Будь благословенно это мгновение — молочно-желтый свет, пронизанный солнцем, легкое покалывание озноба, словно вспыхивающие в стакане минеральной воды пузырьки, и серебряная голова, лежащая у меня в ногах на больничном байковом одеяле.

И было еще в моей жизни:

Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов Патриаршего подворья — бывшей вотчины Колычевых,— и внезапно пришедшие, наконец, строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака:

Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!..

Будь благословенно, это мгновение! Останься в памяти, не исчезни!..

И еще:

Зал Дома ученых в Новосибирском Академгородке. Это был, как я теперь понимаю, мой первый и последний открытый концерт, на который даже продавались билеты.

Я только что исполнил как раз эту самую песню «Памяти Пастернака», и вот, после заключительных слов, случилось невероятное — зал, в котором в этот вечер находилось две с лишним тысячи человек, встал и целое мгновение стоял молча, прежде чем раздались первые аплодисменты.

Будь же благословенным, это мгновение!

И еще:

Я пишу эти главы в Серебряном бору, под Москвою, в деревянном доме, стоящем над рекою. В этом доме скрипят полы и как-то особенно гулко хлопают двери. И все-таки я физически чувствую благословенную и тяжелую тишину. Я приехал в этот дом, когда на земле еще лежал снег, а потом, за одну ночь, началась удивительная весна.

Было небо вымазано суриком,
Белую поземку гнал апрель.
Только вдруг, прислушиваясь к сумеркам,
Услыхал я первую капель!
И весна — священного священнее! —
Вырвалась внезапно из оков,
И простую тайну причащения
Угадал я в таяньи снегов.
А когда в тумане, будто в мантии,
Поднялась над берегом вода,
Образок Казанской Божьей Матери
Подарила мне моя Беда!..

Будь благословенно это мгновение! Запомнись, не сгинь, останься со мной навсегда!..

...Шум за занавесом затих, погас без предупреждения свет, и в темном пустом зале снова зазвучал голос Олега Ефремова:

— ...Война! Октябрь тысяча девятьсот сорок четвертого года. Советская армия движется с боями на Запад. В сумерки над осажденными городами стоит невысокое зарево пожаров. Медленно падают черные хлопья пепла, похожие на белые хлопья снега. Ветер гудит рваным листовым железом. Ахают дальнобойные. И немногие уцелевшие жители, забившись в погреба и подвалы, устало и нетерпеливо ждут... Жизнь и смерть начинаются одинаково — ударом приклада в дверь!..

В тот год мы возвращались в родные города, шагали по странно незнакомым улицам, терли кулаком слипающиеся глаза и внезапно в невысоком холме с лебедой и крапивой узнавали сказочную гору нашего детства, вспоминали первую пятилетку, шарманку на соседнем дворе, неподвижного голубя в синем небе и равнодушный женский голос, зовущий Серёньку...

Мы научились вспоминать. Мы стали взрослыми.

...Пошел занавес.

До сих пор не могу понять, как удалось ребятам из столов и скамеек соорудить такую сложную декорацию — но это им удалось. Во всяком случае, я отчетливо помню, что у меня было полное ощущение — и вагона, и движущегося поезда, и покачивающихся подвесных коек.

Ефремов продолжал, чуть понизив голос, точно боясь потревожить спящих:

— Санитарный поезд. «Кригерровский» вагон для тяжелораненых. По обе стороны вагона двойной ряд подвесных коек с узким проходом посре-

дине. Верхний свет не горит, и в предутренних сумерках видны только первые от тамбура четыре койки — верхняя и нижняя, верхняя и нижняя.

И на одной из этих нижних коек, запрокинув голову на взбитую подушку, сжав запекшиеся губы и закрыв глаза, лежит старший лейтенант Давид Шварц.

Беспокойно и смутно спят раненые — мечутся, бредят, скрипят зубами, плачут и разговаривают во сне. Кто-то выкрикивает, отрывисто и невнятно:

— Первое орудие, к бою! Второе орудие, к бою! По фашистским гадам, прямой наводкой, огонь!..

Но никто не торопится выполнять приказание, не гремят орудия, не взлетает в дымное небо вопящая взорванная земля — мирно гудит поезд, постукивают колеса и лишь по временам за окнами, как напоминание об огне, пролетают быстрые, мгновенно гаснущие искры от паровоза.

Возле койки Давида, на низком табурете, положив на колени длинные усталые руки с пожелтевшими от йода пальцами, в белом халате и затейливой белой косынке медицинской сестры, сидит Людмила Шутова, молча и тревожно поглядывает на Давида.

Олег Ефремов неторопливо ушел за кулисы.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

...В конце третьего действия что-то случилось с занавесом.

Он закрывался медленно, судорожными рывками, и в еще темном зале мне послышалось, что кто-то всхлипывает. Я помнил остроту Генриха

Гейне, что читателя или зрителя легче всего заставить плакать — для этого достаточно обыкновенной луковицы.

Но после того, как в течение целых трех действий на лицах э т и х зрителей в э т о м зале не отразилось ровным счетом ничего, мысль о том, что кого-то из них все-таки прошибла слеза, доставила мне минутное горькое удовлетворение.

Впрочем, когда занавес наконец закрылся и в зале включили свет, оказалось, что я ошибся. Никто и не думал плакать. Просто бутылочную начальницу окончательно расхватил насморк.

Отсморкавшись и с достоинством записав платочек в рукав, она обернулась к Солодовникову и сказала с искренним огорчением:

— Как это все фальшиво!.. Ну, ни слова правды, ни слова!..

И тут я не выдержал!

Бешенство залило меня, как озноб, и, уже не помня себя, я проговорил отчетливо и громко:

— Дура!

Жена вцепилась мне рукою в плечо.

Бутылочная и кирпичная внимательно, словно хорошенько запоминая на будущее, посмотрели на меня, кирпичная сокрушенно покачала головой, а бутылочная совершенно неожиданно улыбнулась.

...Дней через десять мы будем сидеть с нею вдвоем в ее служебном кабинете на Старой площади, в здании ЦК КПСС.

Уступив настояниям Олега Ефремова, который бессмысленно продолжал надеяться, что еще можно что-то спасти,— я позвонил бутылочной и попросил разрешения прийти к ней побеседовать.

Как ни странно, она чрезвычайно охотно согласилась на свидание. И даже без обычного чиновного — позвоните на будущей недельке. Нет, она сказала:

— Приходите, пожалуйста. Завтра вам удобно?

— Да.

— Ну, давайте завтра.

И вот мы сидим с нею вдвоем в ее служебном кабинете. Очень, как выражаются в пивных, культурно сидим. Соколова за столом, в кресле, я напротив на стуле. За окном — серенький зимний день. Бесшумно падает мелкий снежок. И вообще вокруг как-то удивительно, почти неправдоподобно тихо. Так уж положено в этом здании — говорить негромко, по коридорам ходить чуть ли не на цыпочках. Здесь не смеются и не балагурят, здесь даже телефонные звонки звенят настороженно-приглушенно.

Здесь сердце и мозг страны, здесь ее святая святых!

И в этой святой святых я услышал такие слова — доверительно наклонившись ко мне через стол, округлив маленькие бесцветные глазки, Соколова сказала:

— Вы что же хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?! Это евреи-то!

Я сделал неуверенный протестующий жест, но Соколова строго сказала:

— Нет, вы обождите, вы не перебивайте меня! Вы ведь ко мне пришли, чтобы мое мнение выслушать, верно? Вот я вам его и выскажу!

Она побарабанила пальцами по столу:

— Еврейский вопрос, Александр Арка-

ди-е-вич,— она необыкновенно тщательно, по слогам, выговаривала мое отчество,— это очень сложный вопрос! К нему, знаете ли, с кондачка подходить нельзя. В двадцатые годы — так уж оно получилось,— когда русские люди зализывали, что называется, раны, боролись с разрухой, с голодом — представители еврейской национальности, в буквальном смысле слова, заполнили университеты, вузы, рабфаки... Вот и получился перекося! Возьмите, товарищ Галич, к примеру — кино...

Она сделала паузу и, понизив голос, почти шепотом проговорила:

— Ведь одни же евреи!

Она снова повысила голос и почти в упор спросила меня:

— Должны мы выправить это положение?

И сама, не дождавшись моего ответа, твердо сказала:

— Должны! Обязаны выправить! Вот, говорят — я сама слышала,— будто мы, как при царском режиме, собираемся процентную норму вводить!.. Чепуха это, поверьте!.. Чепуха, если еще не хуже! Никакой процентной нормы мы вводить не собираемся, но...

Она погрозила пальцем какому-то незримому оппоненту:

— Но, дорогие товарищи, предоставить коренному населению преимущественные права — это мы предоставим! Хотите, обижайтесь на нас, хотите, жалуйтесь,— но предоставим!..

...Так впервые, зимою 1958 года, во вполне дикарском изложении бутылочной Соколовой — инструктора Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза — я услышал о теории «национального выравнивания».

Впоследствии, в целом ряде выступлений, статей и даже в докторской диссертации преподавателя Горьковского университета, некоего Мишина — напечатанной, кстати, отдельной книгой в семидесятом году под названием «Общественный прогресс», — теория эта получит свое вполне научнообразное оформление. Впрочем, от научнообразия дикарская суть этой теории не изменится. Это будет все то же вечное — «Бей жидов, спасай Россию!», все то же стремление к созданию гетто — правда, нового типа, такого интеллектуального гетто, которое оградит наши больницы и институты, наши издательства и редакции, наши киностудии и театры от проникновения в них представителей сионистской пятой колонны.

После Шестидневной войны и разрыва дипломатических отношений с Израилем обо всем этом заговорят уже не стесняясь, в полный голос, открытым текстом.

...А Соколова, покончив с вводной частью, перешла, наконец, непосредственно к моей пьесе.

— Вот у вас, товарищ Галич, есть там сцена в санитарном поезде... Я сказала, что в ней все фальшиво, а вы меня за это «дурой» обругали!

Я снова попытался сделать не слишком искренний протестующий жест, и Соколова снова не дала мне возразить:

— Нет, нет, вы не подумайте, что я в обиде на вас! Бывает — вырвется слово, потом сам не рад, да уж поздно! Не в этом, Александр Аркадьевич, дело! Давайте мы лучше разберем с вами эту сцену! Кто в ней главный герой? Скрипач этот ваш, Додик! И что же получается? Когда в конце диктор читает правительственное сообщение и комиссар говорит — вот, дескать, что мы

с вами сделали,— то получается, что это Додик все сделал?!

Она горестно усмехнулась:

— А с папашей у вас и вовсе полная путаница! То он жуликом был, то вдруг в герои вышел — ударил гестаповца скрипкою по лицу. Да не было этого ничего, товарищ Галич, не было! Я признаю — еврейский народ очень пострадал в войну, это так!.. Но ведь, между прочим, и другие народы пострадали не меньше. Но только русские люди, украинцы, белорусы с оружием в руках защищали свою землю — не в регулярных частях, так в партизанских — били фашистов, гнали их, уничтожали... И стар, понимаете, и мал! Возьмите, хотя бы, краснодонских героев!? Дети, а каких делов понаделали! А евреи? Шли, как... Извините, товарищ Галич, но я даже слова приличного подобрать не могу — шли покорно на убой — молодые люди, здоровые... Шли и не сопротивлялись! Трагедия? Да! Но для русского человека, Александр Ар-ка-ди-е-вич, есть в этой трагедии что-то глубоко унижительное, стыдное...

...И тут со мною что-то случилось!

Соколова продолжала говорить, но я уже больше не слушал и не слышал ее слов, не видел ее лица.

Я увидел другое, прекрасное в своем трагическом уродстве, залитое слезами лицо великого мудреца и актера Соломона Михайловича Михоэлса. В своем театральном кабинете за день до отъезда в Минск, где его убили, Соломон Михайлович показывал мне полученные им из Польши материалы, документы и фотографии — о восстании в Варшавском гетто.

...Всхлипывая, он все перекладывал и перекладывал эти бумажки и фотографии на своем

огромном столе, все перекладывал и перекладывал их с места на место, словно пытаюсь найти какую-то ведомую только ему горестную гармонию.

Прощаясь, он задержал мою руку и тихо спросил:

— Ты не забудешь?

Я покачал головой.

— Не забывай,— настойчиво сказал Михоэлс,— никогда не забывай!

Я не забыл, Соломон Михайлович!

Уходит наш поезд в Освенцим,
Наш поезд уходит в Освенцим —
Сегодня и ежедневно!

И другое лицо увидел я — зеленоглазое, слегка насмешливое, необычайно красивое лицо поэта Переца Маркиша.

...Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей (существовала когда-то такая секция!). После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно — хоть и не знал даже языка — должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженным, при галстукке (часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью), и где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому.

И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь

зал, остановился передо мною и проговорил нарочито громко и грубо:

— А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка, убирайтесь отсюда вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!..

Я опешил. Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось?

Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы огорчения и обиды.

Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие — и среди них Маркиш — физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование.

И теперь я знаю, что Маркиш — в ту секунду, когда он громогласно назвал меня «чужим» и выгнал с заседания, — просто спасал мне, мальчишке, жизнь.

Я этого не забыл, Перец, я этого никогда не забуду!

...Откуда-то из липкого тумана, из болотной хляби, мерзкий, словно его соскребли со стены привокзального сортира, прозвучал голос Соколовой:

— А можете ли вы, товарищ Галич, гарантировать, что на вашем спектакле — если бы он, конечно, состоялся, — не будут происходить всякие националистические эксцессы?! Не можете вы этого гарантировать! И что же получится? Получится, что мы сами, своими руками, как говорится, даем повод и для сионистских, и для антисемитских выходов...

Но я уже опять перестал слушать ее и слышать.

...Сначала заиграл духовой оркестр — песни Дунаевского и старинные вальсы. Потом зажглись круглые матовые фонари, заблестел лед, зазвенели коньки — и закружились, понеслись все быстрее и быстрее нарядные фигурки конькобежцев.

В начале тридцатых годов мы переехали из Веневитиновского дома на Малую Бронную, и моим миром стали Никитские ворота, Тверской бульвар, Большая и Малая Бронная и, конечно же, Патриаршие пруды: летом — зеленый сквер с прудом и лодочной станцией, а зимой — каток.

Каток на Патриарших прудах! Как часто, с какой благодарностью и нежностью я вспоминаю тебя!

Вьюга листья на крыльцо намела,
Глупый ворон прилетел под окно
И выкаркивает мне номера
Телефонов, что умолкли давно!
Словно встретились во мгле полюса,
Прозвенели над окном топоры —
Оживают в тишине голоса
Телефонов довоенной поры!
И внезапно обретая черты,
Шепелявит в телефон шепоток:
— Пять — тринадцать — сорок три? Это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!..

И подхватив чемоданчик (а ходить на каток без чемоданчика считалось дурным тоном), как бы ни был я устал или занят — я мчался на Патриаршие пруды.

Это был не просто каток. Это был своего рода клуб, место, где мгновенно возникали и так же мгновенно кончались неистовые и стремительные юношеские романы, где выяснялись отношения и обсуждались планы на будущее.

И все это под шум, смех, звон коньков и похрипыванье духового оркестра, повторявшего раза три в вечер свой коронный номер — вальс «На сопках Манчжурии»:

Спит гаолян,
Сопки покрыты мглой...

В последнюю предвоенную зиму на нашем катке появилась новая девушка, которую никто не знал. Причем появилась она и как-то внезапно, и как-то очень определенно.

Мой приятель Яшка Лифшиц — в сорок девятом году он будет расстрелян в Лефортовской тюрьме как враг народа и не то японский, не то английский шпион — сказал про нее:

— Вот ее не было — и вот она есть!

Да, она была, она существовала — тоненькая, золотоволосая, с удивительными прозрачно-синими глазами. И одета она была тоже для тех лет необыкновенно: золотистые волосы перехвачены широкой белой лентой, белый свитер и короткая, торчком, похожая на балетную пачку, белая юбка.

Через несколько дней после первого появления этой девушки на Патриарших прудах все тот же всеведущий Яшка сообщил нам в раздевалке катка все, что ему удалось узнать о ней:

— Зовут ее Лия... Фамилия — Канторович... Отец — еврей, наверное... А мать была немка, но мать умерла... Она много лет прожила в Австрии, отец ее там в торгпредстве работал... Они вон в том доме живут — напротив катка...

Это были и вправду чрезвычайно ценные сведения. И самым ценным было то, что Лия жила в доме, выходящим окнами на Патриаршие пруды, и, стало быть, появление ее на

нашем катке не было случайным — зачем ей ездить в Парк культуры или на Петровку, на каток «Динамо»?!

К этому катку на Петровке мы испытывали откровенное, давнее и стойкое недоброжелательство. Мы считали, что на этот каток ходят одни пижоны — с Кузнецкого моста и Столешникова переулка, и ходят не столько кататься на коньках, сколько глазеть на знаменитых завсегдаев — актеров и спортсменов.

На нашем катке знаменитости не бывали — здесь мы сами были знаменитостями.

В тот же день, после Яшкиного сообщения, мы познакомились с Лией. Мы просто подъехали всей компанией к скамейке, на которой она отдыхала, остановились и хором сказали:

— Здравствуйте, Лия, мы хотим с вами познакомиться!

— Очень приятно,— серьезно ответила Лия,— а кто вы такие?

Мы по очереди начали представляться, но Лия улыбнулась:

— Не надо, не надо! Я буду знакомиться постепенно!..

Так, естественно и спокойно — а она все делала естественно и спокойно — Лия стала полноправным членом нашей компании.

Мы звонили ей по телефону — сообщали время, когда придем на каток, иногда провожали ее все вместе до дома, но никто из нас в нее почему-то не влюблялся.

Лия была Лией — самой красивой, самой, пожалуй, умной из всех нас и немножко загадочной — и влюблялись мы в девушек попроще и понятнее.

Однажды — это было в январе сорок первого

года — еще задолго до закрытия катка, Лия сказала мне:

— Знаешь, я что-то сегодня устала! Проводишь меня?

— Хорошо,— сказал я с некоторым недоумением, так как обычно мы уходили с катка самыми последними, когда оркестранты начинали закидывать в чехлы свои тромбоны и трубы, и один за другим гасли матовые шары-фонари.— Сейчас я скажу ребятам!

— Не надо,— сказала Лия,— проводи меня один.

...Мы медленно шли с нею по дорожкам сквера. Мы шли, молчали, и веселые голоса, доносившиеся с катка, звуки музыки — словно подчеркивали тишину нашего молчания и поскрипывание снега под ногами.

Неожиданно Лия спросила:

— Это правда, что ты пишешь стихи?

— Да.

— Прочти что-нибудь.

Я подумал и прочел стихи, которые когда-то хвалил Багрицкий — стихи о Тютчевской усадьбе в Мураново.

Стихи эти, как и большинство стихов той поры, у меня не сохранились, теперь я их уже и не помню, помню только одну строфу:

А здесь с головы и до самых пят
Чужой нежилой уют,
Здесь даже вещи не просто скрипят,
А словно псалмы поют!..

— Еще! — потребовала Лия.

Я прочел что-то еще.

— А зачем ты работаешь в театре? — спросила Лия.

Я пожал плечами:

— Интересно.

— Какая чушь! — вздохнула Лия.

Мы подошли к подъезду ее дома, остановились. Лия посмотрела на меня снизу вверх — я уже вымахал тогда все свои сто восемьдесят три сантиметра, и золотая Лиина голова едва доходила мне до плеча — и сказала:

— Мне понравились твои стихи... И вообще ты мне немножко нравишься! Но только ты как-то совершенно не умеешь думать!..

Она усмехнулась:

— Вот мне и придется хорошенько подумать — за тебя и за меня.

— О чем? — тупо спросил я.

Лия не ответила.

— Я позволю тебе завтра,— сказал я.

— Нет,— сказала Лия,— ты не звони... Я сама тебе позволю. Но, наверное, не скоро — когда все обдумаю.

Она оглянулась и неожиданно приказала:

— Поцелуй меня!

Являя собой вполне идиотское зрелище: в одной руке у меня был Лиин чемоданчик, а в другой руке — мой,— я наклонился и поцеловал Лию в холодную щеку и краешек губ. Она снова, снизу вверх, посмотрела на меня, засмеялась, выхватила свой чемоданчик, показала мне язык и убежала.

И все-таки я позвонил ей первым — позвонил и пригласил ее на премьеру «Города на заре».

— Хорошо! — сказала Лия.— Мне не хочется, но я приду!

...Когда закончился спектакль, я быстро разгримировался, переоделся и вышел в фойе, где кипела возникшая стихийно дискуссия: что-то

кричал, размахивая руками, поэт Павел Антокольский, что-то гудел драматург Александр Гладков, ребята из ИФЛИ пели хором песню из нашего спектакля:

У березки мы прощались,
Уезжал я далеко,
Говорила, что любила,
Что расстаться нелегко!..

А Лия стояла в стороне, совсем одна, опершись локтями на подоконник, какая-то неправдоподобно красивая и грустная, в темном платье, в туфельках на высоких каблуках.

— Лия,— задыхаясь, сказал я,— поедем с нами, хорошо?! Мы сейчас все к Севке Багрицкому собираемся... Поедем?

— Будете праздновать? — насмешливо спросила Лия.

— Да,— сказал я,— а что?

— А я не хочу с вами праздновать,— с необычной резкостью сказала Лия,— мне не понравился ваш спектакль! Мне не понравилось, как ты играешь!

Я обиделся и, как всегда, не сумел этого скрыть. В спектакле «Город на заре» я играл одну из главных ролей — комсомольского вожака Борщаговского, которого железобетонный старый большевик Багров и другие «хорошие» комсомольцы разоблачают как скрытого троцкиста. В конце пьесы я уезжаю в Москву, где, совершенно очевидно, буду арестован.

— Вернее, мне не понравилось — что ты играешь! — сама себя поправила Лия, увидев мое обиженное лицо.— Как ты можешь — такое играть?! Я же говорила, что ты совершенно, совершенно не умеешь думать!.. И вот что еще —

я поняла, что у нас ничего не получится! Ты мальчишка, а я женщина...

— Что значит — женщина?! — нетерпеливо спросил я.

Я спешил: Севка с ребятами — и среди них девушка, которая мне очень нравилась, — уже ждали меня внизу, и у меня не было ни времени, ни желания выяснять с Лией отношения.

— А ты не знаешь, что это значит? — усмехнулась Лия и с вызовом вскинула голову. — Я спала с мужчиной, понятно тебе! Со взрослым мужчиной!..

Она легонько толкнула меня ладошкой в грудь:

— Иди! Иди, празднуй!..

И я ушел. И мы уже никогда больше не встречались.

Несколько раз я звонил Лие — но она была очень занята, готовилась к весенней сессии, да я и сам был очень занят — через день, по вечерам, мы играли спектакль, в первой половине дня с Исаем Кузнецовым и Севой дописывали пьесу «Дуэль», начинали репетиции «Рюи Блаза» Гюго.

...Недели через две после начала войны мама сказала, что ко мне заходила прощаться необыкновенно красивая девушка, просила передать мне привет и сказать, что ей очень жалко.

А почему и чего было жалко Лие, не понял ни я, ни, тем более, мама.

Лия ушла на фронт медсестрой. За свою недолгую военную службу она вынесла с поля боя больше пятидесяти раненых, а когда под Вязьмою был тяжело контужен командир роты, Лия оттащила его в медсанбат, вернулась на позицию и подняла бойцов в контратаку.

Я уверен, что она не кричала «За Родину, за

Сталина!» или «Смерть немецким оккупантам!». Конечно же, нет! Она сказала что-нибудь очень простое, что-нибудь вроде того, что говорила обычно, в те давние-давние времена, когда мы выходили из раздевалки на наши Патриаршие пруды и Лия, постукав коньком об лед, весело бросала нам:

— Ребята, за мной!..

Уже в сентябре сорок первого года Лия была убита.

Посмертно ей присвоили звание Героя Советского Союза.

...Снова возник голос Соколовой:

— Вот потому-то, товарищ Галич, я и сказала после третьего действия, что все это насквозь фальшиво!.. Всякая пьеса, Александр Ар-ка-ди-е-вич, какая бы она ни была — мне лично ваша пьеса кажется плохой пьесой, — но все равно всякая пьеса дает обобщенные типы... У вас они тоже обобщенные — но неправильно! Ну, насчет геройства и всего такого прочего!.. Неправильные обобщения!..

Она встала, давая понять, что на этом наша беседа с нею закончена.

— Мы, — сказала она, подчеркивая это «мы» и голосом, и интонацией, и даже телодвижением, — мы вашу пьесу рекомендовать к постановке не можем! Мы ее не запрещаем, у нас даже и права такого нет — запрещать! — но мы ее не рекомендуем! Рекомендовать ее — это было бы с нашей стороны грубой ошибкой, политической близорукостью!..

...По длинному и чистому, стерильно чистому коридору я попал на лестничную площадку, спустился вниз, отдал мордастому и очень вежли-

вому охраннику свой разовый пропуск и вышел на улицу.

Дни стояли короткие — февраль, уже смеркалось, по-прежнему падал с неба мелкий снежок, проезжали машины с включенными фарами, дворники посыпали тротуары крупной серой солью.

Горе тебе, Карфаген!

...Я медленно шел по Китайскому проезду к площади Дзержинского. Я был слегка оглушен всем, что сегодня услышал, но мне почему-то не было ни обидно, ни грустно — скорее противно!

К чиновной хитрости, к ничтожному их цинизму я уже давно успел притерпеться. Я высидел сотни часов на сотнях прокуренных до сизости заседаниях — где говорились высокие слова и обдывались мелкие делишки.

Но такой воистину дикарской откровенности, такого самозабвенного выворачивания мелкой своей душонки, которое продемонстрировала Соколова, — мне до сих пор не приходилось еще ни видеть, ни слышать.

Со мной — о моей пьесе, о проблемах типического и национальном вопросе — говорила, в сущности, та самая знаменитая кухарка, которая, по идее Ленина, должна была научиться управлять государством.

...В раннем детстве, в первых классах школы, — мы разучивали и пели на уроках пения песню с такими восхитительными строчками:

Чтобы каждая кухарка
Не коптела б, как дикарка,
А училась непременно
Управлять страной отменно!..

Вот она и научилась! Вот она и управляет!

Это же так просто — управлять страной: выслушивай мнение вышестоящих товарищей и пересказывай его нижестоящим товарищам. Нечто подобное происходит на всех этажах, на всех ступенях огромной пирамиды, называемой «партией и правительством»!

А я не стоял ни на одной из этих ступенек, даже на самой нижней. Я не существовал. Меня не было. Я не значился. Так чего же ей, Соколовой, которая так отменно научилась управлять государством, чего же ей было меня стесняться?!

Она и разоткровенничалась. И была в этой откровенности и простая бабья месть за брошенное мною на репетиции словцо «дура», и подлинная дурость, и злорадное торжество имущего власть над никакой властью не имущим.

И все-таки, все-таки самого главного обстоятельства, по которому моя пьеса не могла быть поставлена, не должна, не имела права быть поставленной,— Соколова мне в тот день не сказала.

Допустим, что она и не думала об этом обстоятельстве, вернее, не умела еще выразить его в слове, но она уже чувствовала его — тем особым, обостренным чутьем животного, знающего только звериные правила борьбы за существование.

И тут я должен вернуться к вопросу, которого я мельком коснулся в первой главе,— к вопросу создания всякого рода неравенств, каковая система, по искреннему убеждению соколовых обоюбого пола, и есть способ «отменного» управления государством.

...Вечерами по загородным шоссе с непредусмотренной автоинспекцией скоростью мчатся машины — черные «Волги», черные «Чайки»,

черные «ЗИЛы». С основного шоссе они лихо и круто сворачивают на неразличимые для неопытного глаза асфальтовые тропинки — и тогда, позванивая, поднимаются шлагбаумы, отворяются ворота, начинается суетиться охрана, преисполненная сознанием ответственности исполняемого ею государственного долга. Потом, через некоторое время, все затихает.

Отдыхает начальство, отдыхают «слуги народа», «народные избранники», плоть от плоти и кровь от крови, отдыхают на своих госдачах, отгородившись от народа заборами и охраной, под сенью табличек:

«Посторонним вход воспрещен»!

Но, как бывают разные запретительные знаки: от скромной таблички до милицейского «кирпича» и вооруженной охраны, — так бывают разными и сами госдачи. О, тут существуют тончайшие оттенки: на одних полагаются картины, чешский хрусталь, столовое серебро, обслуживающий персонал — или, как его называют, «обслуга» — человек двадцать, не меньше, собственный кинозал; на других дачах перебыютя и без картин, обойдутся простым стеклом и нержавеющей сталью, «обслуга» — человека два, и кино приходится смотреть в общем, разумеется, тоже закрытом для простых смертных, кинозале.

Хитроумнейшая система!

Даже сотрудники одного и того же учреждения получают пропуска разной формы и цвета. По одним, скажем, розовым и продолговатым — вы можете в обеденный перерыв посетить спецбуфет, где икра, и вобла, и американские сигареты, и весь обед стоит гроши, а по другим, допустим, зеленым и квадратным — извольте спуститься в обыкновенную столовую, где о вобле и слыхом не

слыхали, где лучший сорт сигарет — дубовые «Столичные» и обед стоит столько же, сколько в любой другой городской столовой.

...Возможно, вы не знаете историю, давно уже ставшую анекдотом.

Знакомая одних наших знакомых совершенно случайно попала в загородную правительственную больницу «Кунцево».

И вот какой разговор она услышала за завтраком. Поедая бутерброд с лососиной, жеманная жена одного «народного избранника» жаловалась другой:

— Ну, я-то понимаю — почему я сюда попала! Я заехала к одной своей школьной подруге — не из наших... Она стала угощать чаем, неудобно было отказаться — выпила чаю, покушала городской колбасы — и пожалуйста, вспышка гастрита!..

Вот ведь оно как — уже не принимают, не переваривают их желудки «городскую» колбасу!

Но добро бы дело сводилось только к сигаретам и колбасе.

Иметь розовый пропуск — это значит жить в особом мире, где свои деньги и порядки, свои книжки и газеты, вроде «Белого ТАССа», где смотрят особые заграничные фильмы с политической и сексуальной «малинкой», где почти бесплатно отдыхают в спецсанаториях и где, наконец, на государственный счет — то бишь на счет обладателей зеленых пропусков и прочих — ездят в заграничные командировки.

Вот и попробуйте теперь сравнить — куда там! — страстную мечту Акакия Акакиевича о новой шинели с мечтой современного Башмачкина, обладателя зеленого пропуска, о пропуске розовом!

Господи, да прикажи ему вышестоящий товарищ, от которого может что-то зависеть, спинку почесать — почешет, в дерьмо нырнуть — нырнет, прикажи дать по рылу «кому совсем не виноватому» — даст, за милую душу даст! Лишь бы держать на потной ладони этот розовый, продолговатый, выигрышный лотерейный билет, этот волшебный пропуск в иной, волшебный мир — и чтобы на этом пропуске, таким красивым, с завитушками, почерком было написано твое собственное имя!..

А уж когда Акакий Акакиевич пропуск этот получит — попробуйте-ка его отнять! Тут уж он не только по рылу даст — тут он на что угодно пойдет: на любую подлость и преступление, на любую донос и предательство.

И все-таки, случается — отнимают!

Все на свете преходяще: и молодость, и здоровье, и розовые пропуска!

И приходится на старости лет, как пришлось это «деятелям антипартийной группы и примкнувшему к ним Шепилову», обзаводиться не государственными, а своими, купленными на обычные деньги, «городскими» вилками, ложками и тарелками!..

Страшно!

И ноют, мучительно ноют сердца соколовых, тяжело ворочается вермишель чиновных мозгов — а нет ли такой системы неравенства, которая была бы не преходящей, а вечной, не зависела бы от звания и чинов, от того, кто сегодня на самом верху, от времени и обстоятельств и с лихвою искупала бы собственную дурость?!

Оказалось, что такое неравенство — есть!

Простейший канцеляризм, невинный «пятый пункт», ответ на вопрос анкеты о национально-

сти — а вот, поди ж ты, каким могучим смыслом и содержанием наполнила его чиновная догадливость!

Ведь вот же он, не дававшийся в руки средневековым алхимикам философский камень мудрости, — неравенство прекрасное и вечное, неравенство неизменное навсегда.

Разумеется, известно оно было давно, и не соколовы его придумали, но как-то так, до поры, за разговорами о нашем интернационализме как о великой силе международной братской солидарности, они об этом неравенстве не то чтобы позабыли, а вроде упустили из виду, а уж когда спохватились...

А ведь я-то в своей пьесе «Матросская тишина» пытался, по наивности и глупости, доказать, что в Советской России для представителей еврейской национальности путь ассимиляции — не только разумный, но и самый естественный, нормальный, самый закономерный путь.

Я не случайно, а вполне обдуманно и намеренно выдал замуж за Давида не Хану, а Таню, а Хану отправил на Дальний Восток, где на ней женится некий капитан Скоробогатенко — об этом в четвертом действии расскажет старуха Гуревич.

Кстати, по настоянию Ефремова, в программке, отпечатанной на пишущей машинке для зрителей генеральной репетиции, пьеса называлась не «Матросская тишина», а «Моя большая земля» — по последним словам Давида в третьем действии, словам, которые для начальственных дамочек должны были прозвучать как прямое кощунство и оскорбление.

Его земля, изволите ли видеть!

Сам того не понимая, я посягнул на святыню, покусился на основу основ — вот чего не сказала мне Соколова.

Повторяю, в тот год она еще, возможно, и не могла бы мне этого сказать, это еще только носилось в воздухе, формулировки еще не были найдены, хотя необходимость их найти была очевидна.

Странно, казалось бы — уже избивались космополиты, уже был уничтожен Еврейский театр, расстреляны ведущие еврейские писатели и поэты, уже готовилось, после завершения «дела врачей», распределение всех евреев Советского Союза на четыре группы: немногочисленные первые две — «евреи нужные» и «евреи полезные», и многочисленные — «евреи, подлежащие выселению в отдаленные районы страны» и «евреи, подлежащие аресту и уничтожению».

Все это уже было, но внезапная смерть Сталина, а потом доклад Хрущева на Двадцатом съезде КПСС — снова на время спутали карты. Впрочем, кого-кого, а чиновников сбить с толку не так-то просто. Скоро, очень скоро все возвратится на круги своя, а Шестидневная война подведет окончательные итоги — фокус не удался, факир был пьян, как дрова, чиновники могут торжествовать: «пятый пункт» и никаких гвоздей!

Перефразируя известные слова Орвелла из «Скотского хутора», можно сказать — все граждане Советского Союза неравны, а евреи неравнее других!

И не может быть естественной и нормальной ассимиляция в той среде, которая больше всего на свете, всеми своими помыслами, узаконениями и инструкциями — этой ассимиляции не хочет и не допустит.

Орден — пожалуйста, звание — милости просим, не возражаем (и орденом, и званиям уже давно три копейки цена, а на худой конец их можно и отобрать!), но восхитительного «пятого пункта», каиновой печати во веки веков, знака качества второго сорта — этого мы вам не подарим, этого не уступим! А тот факт, что множество людей, воспитанных в двадцатые, тридцатые, сороковые годы, с малых лет, с самого рождения, привыкли считать себя русскими и действительно всеми своими корнями, всеми помыслами связаны с русской культурой — тем хуже для них!

Это как с возрастом — сам себя считаешь еще хоть куда, князь, да и только, а уже вежливый пионерчик, уступая тебе место в метро, говорит: — Садитесь, дедушка!

Сидите, дедушки! Сидите, бабушки! Сидите и не рыпайтесь! Ассимиляции им захотелось!

Современная анкета уже интересуется, бабушки и дедушки, вашей национальностью. Ей отца и матери мало. Ей наплевать, что фамилия заполнявшего анкету Иванов.

Вот он пишет в биографии — русский,
Истый-чистый, хоть становь на показ.
А родился, между прочим, в Бобруйске,
И у бабушки фамилиё — Кац.

Значит, должен ты учесть эту бабку
(Иванову, натурально, молчок!),
Но положи его в отдельную папку
И поставь на ней особый значок!..

...Я пишу обо всем этом без гнева и даже без горечи!

Я уже говорил и охотно повторю, что я просто пытаюсь разобраться в собственной жизни и понять — почему запрещение (пардон, нереконден-

дация!) пьесы «Матросская тишина» так много для меня значило и сыграло такую важную роль в моей судьбе.

Наверное,— так я думаю теперь — потому, что это была последняя иллюзия (а с последними иллюзиями расставаться особенно трудно), последняя надежда, последняя попытка поверить в то, что все еще как-то образуется.

Все наладится, образуется,
Так что незачем зря тревожиться,
Все безумные образуются,
Все итоги непременно подытожатся!..

Вот они и подытожились.

Сегодня я собираюсь в дорогу — в дальнюю дорогу, трудную, извечно и изначально — горестную дорогу изгнания. Я уезжаю из Советского Союза, но не из России! Как бы напыщенно ни звучали эти слова — и даже пускай в разные годы многие повторяли их до меня,— но моя Россия остается со мной!

У моей России вывороченные негритянские губы, синие ногти и курчавые волосы — и от этой России меня отлучить нельзя, никакая сила не может заставить меня с нею расстаться, ибо родина для меня — это не географическое понятие, родина для меня — это и старая казачья колыбельная песня, которой убаюкивала меня моя еврейская мама, это прекрасные лица русских женщин — молодых и старых, это их руки, не ведающие усталости,— руки хирургов и подсобных работниц, это запахи — хвои, дыма, воды, снега, это бессмертные слова:

Редает облаков летучая гряда!
Звезда вечерняя, печальная звезда —
Твой луч осеребрил уснувшие долины,

И дремлющий залив,
И спящие вершины...

И нельзя отлучить меня от России, у которой угрюмое мальчишеское лицо и прекрасные — печальные и нежные — глаза говорят, что предки этого мальчика были выходцами из Шотландии, а сейчас он лежит — убитый — и накрытый шинелью — у подножия горы Машук, и неистовая гроза раскатывается над ним, и до самых своих последних дней я буду слышать его внезапный, уже смертельный — уже оттуда — вздох.

Кто, где, когда может лишить меня этой России?!

В ней, в моей России, намешаны тысячи кровей, тысячи страстей — веками — терзали ее душу, она била в набаты, грешила и каялась, пускала «красного петуха» и покорно молчала — но всегда, в минуты крайней крайности, когда казалось, что все уже кончено, все погибло, все катится в тартарары, спасения нет и быть не может, искала — и находила — спасение в Вере!

Меня — русского поэта, — «пятым пунктом» — отлучить от этой России нельзя!

Генрих Бёлль недавно заметил, что в наши дни наблюдается странное явление: писатели в странах с тоталитарными режимами обращаются к Вере, писатели в демократических странах — к безбожии.

Если наблюдение это верно, то надо с грустью признать, что человечество, как и прежде, упорно не желает извлекать уроков из чужого опыта.

Повторяется шепот,
Повторяем следы.
Никого еще опыт —
Не спасал от беды!

Что ж, дамы и господа, если вам так непременно хочется испытать на собственной шкуре — давайте, спешите! Восхищайтесь председателем Мао, вешайте на стенки портреты Троцкого и Гевары, подписывайте воззвания в защиту Анджелы Дэвис и всевозможных «идейных» террористов.

Слышите, дамы и господа, как звонко и весело постукивают пули, вгоняемые в обойму,— это для вас, уважаемые, сколачиваются плахи, это вам, почтеннейшие, предназначена первая пуля! Охота испытать? Поторапливайтесь — цель близка!

Волчица-мать может торжествовать — современные Маугли научились бойко вопить — мы одной крови, ты и я!

Только, дамы и господа, это ведь закон джунглей, это звериный закон. Людям лучше бы говорить — мы одной веры, ты и я!

...Но пришла пора вернуться в зрительный зал. Пьеса еще не кончена, еще предстоит четвертое действие.

Ох, уж это четвертое действие!

Сколько я с ним бился, сколько раз правил и переписывал, но так и не сумел до конца высказать в нем все то, что я хотел в ту пору сказать...

Если бы я писал это действие сегодня, я бы уж знал — как нужно его написать. Как и о чем.

Но я умышленно (в противном случае, весь этот рассказ потерял бы смысл) не переставил в нем ни одной запятой.

Вот — последняя надежда, последняя иллюзия, последняя попытка поверить и оправдать то, чему оправдания нет,— четвертое действие.

И снова погас свет, снова появился в луче прожектора Олег Николаевич Ефремов — на сей раз уже не в военном, а в парадном черном костюме,— проговорил вступительные слова:

— Середина века. Москва. Май месяц.

Точнее — девятое мая 1955 года. Вот уже в десятый раз встречаем мы День Победы — день славы и поминовения мертвых, день, когда вместе с гордостью за все то, что было сделано нами в годы Великой войны, возвращаются в наши дома старое горе и старая боль.

А май в тот год был теплым и солнечным. Толпы москвичей и приезжих бродили по дорожкам Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки, вновь открытой в Москве после многолетнего перерыва: уходили на целину комсомольские эшелоны, гремели оркестры на привокзальных площадях.

И все чаще и чаще в эту весну бывало так — люди встречались на улице, или в театре, или в метро и сначала, не обратив друг на друга внимания, равнодушно проходили мимо, а потом вдруг оборачивались, растерянно улыбались, и один, поблднев, но все еще не решаясь протянуть руку, бросался к другому и спрашивал, задохнувшись:

— Это ты?! Ты вернулся?!

Москва живет вокзалами. И проводы в тот год были легкими и недолгими, а встречи начинались слезами...

Пошел занавес.

Ефремов продолжал:

— Вечер. Над стадионом «Динамо», в светлом еще небе, мирно гудит самолет.

Окна в комнате открыты настежь, и отчетливо слышно, как внизу, во дворе, галдят ребятишки,

воинственно вопят коты и раздаются веселое, нахальное треньканье велосипедных звончков.

Между двумя книжными полками, на одной из которых в черном футляре лежит скрипка, висит портрет Давида. На портрете ему лет двадцать — хмурое лицо с напряженно сжатыми губами склонилось к скрипке, тонкие пальцы уверенно держат смычок.

В уголке дивана, скинув туфли и поджав под себя ноги, сидит Таня.

На низком круглом столике — какая-то нехитрая снедь, бутылка коньяку и две рюмки...

Ефремов — Чернышев вдруг резко повернулся спиной к зрительному залу и шагнул прямо на сцену.

Он сел на стул рядом с Таней, налил себе рюмку, выпил.

ПЯТАЯ ГЛАВА

Кончилось, кончилось, кончилось!

Кончилось четвертое действие, кончился спектакль, кончилась эта проклятая генеральная репетиция, эта мука-мученическая, когда ни единая реплика на сцене не встречала ответа в зрительном зале.

Закрылся в последний раз занавес, зажегся свет.

Солодовников встал, подошел к бутылочной и кирпичной. Кирпичная что-то сказала, и Солодовников, словно бы извиняясь, развел руками. И в это самое мгновение проходивший мимо меня Товстоногов сделал точно такой же жест — развел руками и покачал головой.

В суровом молчании, с каменными лицами покидали зрительный зал немногочисленные зрители. Только белолицый администратор снова сокрушенно поцокал языком.

Ушли, не взглянув на меня, бутылочная и кирпичная.

Солодовников сказал:

— Давайте, Александр Аркадьевич, зайдем за кулисы.

— Хорошо,— сказал я и встал.

— Это надолго? — спросила меня жена.

— Подожди меня в фойе,— сказал я,— думаю, что я скоро вернусь.

Я оказался прав.

Все дальнейшее заняло не больше двадцати минут. Мы прошли за кулисы, где Солодовников и сказал свою речь, уже описанную мною раньше: речь-скороговорку, речь-бормотанье, речь, единственной целью которой было не сказать ничего.

...Василий Андреевич Жуковский — этого поэта в детстве я почитал превыше всех других — заметил однажды, что судьба, как и поэты, любит инверсии.

Да, судьба и вправду чрезвычайно любит инверсии. Надо же было такому случиться: в одной из комнат почти пустого деревянного дома, что стоит в Серебряном бору над Москвой-рекой, в доме, где я дописываю эту книгу, живет с женою и Александр Васильевич Солодовников. Мы встречаемся за завтраком, обедом и ужином, вечерами — если идет дождь и нельзя гулять — сидим и смотрим телевизор.

Его жена иногда беседует со мной, а сам Александр Васильевич при встречах отводит в сторону глаза и как-то неопределенно дергает

головой. Они живут на втором этаже, а я под ними, на первом.

И ежедневно по несколько раз в день я пишу его фамилию и имя-отчество, вспоминаю его слова, голос, повадку — того Солодовникова, каким он был пятнадцать лет тому назад — а он, сегодняшний, об этом, разумеется, и знать не знает.

Он очень постарел и словно бы высох, но по-прежнему чиновно-надменен и занимает, несмотря на свой преклонный возраст, почетную и бессмысленную должность — состоит при министре культуры советником по вопросам театра. А что такое советский театр и каким ему быть надлежит — это Александр Васильевич усвоил прекрасно!

Сколько раз принимал он в правительственной ложе почетных гостей и выслушивал их замечания, сколько раз председательствовал на совещаниях, посвященных проведению очередного фестиваля или декады национального искусства.

Ах, малинка-калинка,
Калинка моя,
В саду ягода-малинка,
Малинка моя!..

...Новый, победный сорок пятый год генерал — командующий бронетанковыми частями — встречал под Веной, в доме, принадлежавшем знаменитому фокуснику.

Хозяина дома с женою и детьми попросили на время переселиться в подвал. Впрочем, на новогодний прием они были любезно приглашены. И вот, после часа ночи, когда уже были сказаны все положенные тосты, когда гости уже выпили, разомлели, размякли, старый фокусник решил позабавить присутствующих своим искусством.

В никуда взлетали голуби,
Превращались карты в кубики,
Гасли свечи стеариновые,
Зажигались фонари!..

Гости ахали, восхищались, недоумевали, аплодировали.

И только командующий после каждого нового фокуса становился почему-то все мрачнее и мрачнее.

Наконец не выдержав, он кивком головы подозвал к себе адъютанта и шепотом спросил:

— Слушай, а кто-нибудь из наших так может?

Адъютант виновато пожал плечами:

— Вряд ли, товарищ генерал! Он же всемирно известный... Я афиши его видел — там прямо так и написано — король европейских фокусников!

Генерал вздохнул и решительно сказал:

— Ладно, вызывай армейский ансамбль песни и пляски — возьмем количеством!

...Гремит, гудит, грохочет, посвистывает и повизгивает вселенская «Калинка-малинка»! Стучат каблуками молодцы в охотнорядских костюмах, проплывают уточками девицы в расшитых бисером сарафанах — на весь мир размахнулась купеческая «Стрельня», выдаваемая за русское национальное искусство.

Графу Шереметеву с его крепостным театром или братьям Виельгорским с их домашним оркестром в самом горячечном сне не могло бы такое присниться — десятки, сотни тысяч крепостных актеров, музыкантов, певцов, танцоров, атлетов. Даже прославленные балетные труппы Большого и Мариинского театров, даже такие великие

музыканты-исполнители, как Ойстрах, Гилельс, Рихтер, Ростропович, Коган — все они, по существу, отбывают самую доподлинную крепостную повинность.

Мало того, что больше двух третей получаемых ими за границей гонораров забирает государство, — они не вольны принимать решения, строить планы, давать или не давать согласие на выступления.

Все обдумают, решат, обо всем договорятся за них. А потом их вызовут и скажут: надо или не надо ехать туда-то и туда-то, можно или нельзя играть то-то и то-то.

У графа Шереметева, случилось, нерадивого или не в меру строптивного лицедея могли и на конюшне посечь, и в простые дворовые разжаловать.

В наши времена на конюшне уже не секут, неудобно. Но нерадивость или, что куда хуже, стропливость не должны оставаться безнаказанными — посекут не на конюшне, а на собрании, ошельмуют в печати, отменят — уже объявленные заранее — выступления и концерты, лишат права участия в заграничных гастролях. А уж это, последнее наказание, пострашнее порки на конюшне!

Не примечательно ли, что пресловутые особые магазины, где товары продаются только на сертификаты — то есть, по сути, на иностранную валюту — и прославленный танцевальный ансамбль, который большую часть года проводит в гастролях за рубежом, носят одинаковое название — «Березка»!

А вслед за ансамблями и спортивными коллективами ездят особо проверенные и стойкие стукачи — во главе с «писателями» Анатолием

Софроновым и Цезарем Солодарем — и вопят неистовыми голосами:

— Шай-бу!.. Шай-бу!.. Шай-бу!..

Сражаются наши хоккеисты:

— Шай-бу!..

Танцует Плисецкая:

— Шай-бу!

Играет Леонид Коган:

— Шай-бу!

И тут я не могу удержаться, чтобы не сказать об удивительном явлении последних лет нашей жизни:

— Ратуйте, люди добрые! Могучее и стройное здание неравенства дало трещину!

И трещина эта образовалась в самом, казалось бы, надежном месте, в самом защищенном, бронированном. Незыблемейшее неравенство, восхитительные «пятый пункт» удрал-таки штуку, выкинул коленце!

Оставаясь каиновой печатью, знаком качества второго сорта,— он, проклятый, оказался при том еще и лазейкой: обладатели «пятого пункта» имеют право подавать заявления и добиваться разрешения на выезд за границу.

А при одних этих словах — заграница, капстрана, инвалюта — сладостно замирают и тревожно бьются сердца всех больших и малых чиновников.

И какой же русский не любит быстрой езды — всего три с половиной часа — и ты в Париже! А в Париж — это еще в старину говорили — приедешь, угоришь!

Ах, Елисейские поля, Пляс Пигаль, универсальные магазины «Призюник» и «Монопри»!

...Мы прилетели в Париж, на аэродроме Ля Бурже, пасмурным апрельским вечером.

«Мы» — это бывший, а в ту пору действительный, директор киностудии «Ленфильм» Илья Николаевич Киселев и я.

Нас на две недели пригласила в Париж кинофирма «Алькам», в преддверии начала съемок совместного советско-французского фильма «Третья молодость» — о знаменитом танцовщике и балетмейстере Мариусе Петипа.

Я, таинственную волею судеб, принимал участие в этой работе в качестве кинодраматурга с советской стороны и в Париже уже бывал: здесь с моим французским соавтором Полем Андрэста мы писали литературный сценарий.

А вот Киселев летел — не только в Париж, а вообще за границу — в самый первый раз. Грузный, мешковатый, темнолицый — он наполовину цыган — Илья Николаевич обливался в самолете потом, непрерывно вытирал лицо и шею большим, как полотенце, носовым платком и жалобно повторял:

— Слушай, ты уж меня там не бросай одного, ладно?! Ты же знаешь — по-французски я ни бум-бум, и вообще... ориентируюсь слабовато!

О том, как Киселев «ориентируется», на «Ленфильме» рассказывали бесчисленные анекдоты. Злые языки утверждали, что если машина Ильи Николаевича высаживала его не у самого подъезда Студии, а где-нибудь на другой стороне улицы — то Киселев мог вполне свободно заблудиться и даже не прийти на работу. А по самой Студии — в павильоны и цеха — Илья Николаевич неизменно ходил с провожатым.

...Хмурый и чем-то явно раздосадованный молодой человек — представитель фирмы «Аль-

кам» — встретил нас на аэродроме, взял наши чемоданы, посадил в такси.

Каким-то странным кружным путем, минуя центр, по окраинным парижским улочкам, мимо серых обшарпанных домов и пустырей, такси привезло нас к дверям тоже весьма неказистой гостиницы.

Молодой человек выгрузил наш багаж, внес его в холл, что-то негромко сказал портье и, поспешно распрощавшись с нами, ушел.

И только теперь, оглядевшись, я понял причину и его досады, и этой виноватой поспешности. Гостиница, в которую нас привезли, была третьеразрядным заведением того сомнительного пошиба, где вечно сонный портье, не глядя — глядеть на гостей здесь не положено — дает посетителям ключи:

— Пожалуйста, медам-месье! На час? На ночь? На сутки?

По узкой винтовой лестнице мы поднялись с Киселевым в наши почти одинаковые номера — с кокетливыми ситцевыми занавесками в цветочках, с неизменной ширмой возле кровати и старинным педальным умывальником с ведерком воды и тазом под ним.

Телефонов в наших номерах, разумеется, не было.

— Ну, нет,— сказал я Киселеву,— мы здесь, Илья Николаевич, жить не будем. Это какое-то недоразумение. Сейчас я спущусь к портье и позвоню в фирму!..

— Я тебя умоляю,— снова залепетал Киселев, хватая меня за руки,— ты не уходи... Я ж боюсь... Я ж потеряюсь...

— Не потеряетесь. Сидите в номере и ждите меня. Через пять минут я вернусь.

Но вернулся я не через пять минут, а значительно позже. Телефон у портье был испорчен, и я довольно долго плутал по горбатым переулкам и улочкам, пока не набрел на какое-то кафе, откуда я и позвонил, наконец, в фирму.

Глава фирмы Александр Каменка сказал мне в телефон скорбно-замогильным голосом, что это все ужасно, что он очень извиняется перед господином Киселевым и передо мною, что все они просто в отчаянии, что сегодня в Париже кончается какое-то идиотское международное автотралли, на которое съехались любители из всех стран, и что завтра рано утром он сам, лично, заедет за нами и перевезет нас в хороший отель, где нам уже заказаны номера.

— Еще раз, умоляю,— сказал в заключение Каменка,— передайте господину Киселеву тысячи извинений и сердечный привет! Что он делает?

— Господин Киселев,— сурово сказал я,— сидит у себя в номере и очень сердится!..

И все это оказалось неправдой!

Господин Киселев не сидел у себя в номере и не сердился. Господин Киселев стоял у подъезда гостиницы, крепко — чтобы не потеряться и не заблудиться — держась одной рукой за ручку двери, и смотрел на пустырь, что находился напротив гостиницы.

По пустырю, уставленному в живописном беспорядке огромными металлическими корзинами для мусора,— стаями, нахально, бродили сытые коты и кошки и рылись в отбросах две старухи.

Но небо над пустырем было сиреневым в розовых разводах, и откуда-то доносились автомобильные гудки и музыка.

И господин Киселев даже не обернулся, когда я подошел к нему и сказал:

— Илья Николаевич, ничего не напишешь, придется нам здесь переночевать! Одну ночь! Утром переедем в другой отель!

Он не ответил. Он продолжал, чуть приоткрыв рот, смотреть на пустырь. Он тяжело дышал, и в груди у него что-то булькало и хрипело.

— Илья Николаевич! — уже слегка обеспокоенный — не случилось ли чего? — окликнул я. — Что с вами, Илья Николаевич?!

И все так же, молитвенно и неотрывно глядя на пустырь, на мусорные корзины, на котов и старух, господин Киселев тихо проговорил:

— Париж!.. Какой город, а?!

...Эту историю я вспоминаю всякий раз, когда кто-нибудь начинает при мне жаловаться на то, что из него тянут жилы с разрешением на выезд в Израиль.

А что же вы хотите, друзья мои?! А как же иначе?!

Обыкновенный рядовой советский человек имеет право один раз в три года поехать в туристскую поездку в какую-нибудь капиталистическую страну. Один раз в три года, всего на семь-девять дней гражданин из страны победившего социализма, где человек человеку друг, товарищ и брат, может мельком взглянуть на страшный мир, где человек человеку волк.

Но и на подобного рода поездку дают разрешение далеко не каждому. И всякий раз — это многомесячная трепка нервов, это бессонные ночи и лихорадочное ожидание: пустят или не пустят?! И если не пустили (а сообщать причину отказа не положено), какие мучительные часы раздумий, какая невыносимая тревога — снова

на долгие месяцы и на бессонные ночи — охватывает свободного и счастливого гражданина Страны Советов!

За что? Почему? Значит — не верят! Значит, где-то и на кого-то я не так поглядел, не то сказал? Значит, в той таинственной комнате, которая называется «Особый отдел» и куда посторонним вход запрещен строжайше, числятся за мною какие-то неведомые мне грехи?!

Ай-яй-яй, как плохо, как тревожно, какая беда! Ибо всякую поездку за границу, даже туристскую, принято у нас рассматривать, прежде всего, как неоспоримое выражение доверия и поощрения.

И вдруг — на тебе! Эти самые, что с «пятым пунктом», эти неравнейшие среди неравных, эти граждане второго сорта хотят, чтоб им дали разрешение уехать в капиталистическую страну Израиль!

И не просто хотят — требуют! И не только требуют — уезжают — сотни, тысячи! Что случилось?! Как могло такое произойти?! Ратуйте, люди добрые!

Неладно что-то в датском королевстве!

И уже не тексту Шекспира
(Я и помнить его не хочу!)
Гражданин полоумного мира,
Я одними губами кричу:
— Распалась связь времен!..

...Я шел на это свидание и совершенно искренне волновался.

С человеком, которого мне сейчас предстояло увидеть, мы не встречались, ни много ни мало, ровно сорок лет.

Еще одна из причудливых инверсий судьбы:

все эти годы мы жили в одном городе, состояли — до моего исключения — в одной и той же писательской организации, у нас были общие друзья, мы посещали, вероятно, одни и те же вечера и просмотры в Центральном Доме литераторов — и вот поди ж ты — ни разу, ни единого раза не встретились.

А ровно сорок лет тому назад мы — мальчишки — непременно и обязательно встречались дважды в неделю на занятиях литературной бригады при газете «Пионерская правда».

...В одной из комнат редакции, где так замечательно пахло табачным дымом, типографской краской, бумагой, чернилами — дважды в неделю мы читали свои новые стихи (а тогда мы все писали стихи) и, как щенята, с веселой злостью набрасывались друг на друга, разносили друг друга в пух и прах за любую провинность: стертую или неточную рифму, неудачный размер, неуклюжее выражение.

И был среди нас какой-то сонно-подслеповатый, нескладный и медлительный мальчик по имени Володя, который тоже, разумеется, писал стихи — кто же их не пишет в тринадцать-четырнадцать лет?! Но иногда читал и свои рассказы — короткие, странные, вызывающие неизменное одобрение руководителя нашей бригады молодого писателя Исая Рахтанова, автора прекрасной детской книжки «Чин-Чин-Чайнамен и Бонни Сидней».

Однажды Рахтанов сказал:

— С вами хочет познакомиться поэт Эдуард Багрицкий. Следующее занятие — в пятницу — мы проведем у него дома. Я рассказывал ему про нашу бригаду, и он просил, чтобы я вас к нему привел!

...Диковинное оружие висело на диковинном стенном ковре, диковинные рыбы плавали в диковинных аквариумах, диковинный человек с серозелеными глазами и седым чубом, спадавшим на молодой лоб, сидел, поджав по-турецки ноги, на продавленном диване, задышался, кашлял, курил — от астмы — вонючий табак «Астматол» и, щурясь, слушал, как мы читаем стихи.

Всего в нашей бригаде было человек пятнадцать, и стихи мы читали по кругу, каждый по два стихотворения.

Багрицкий слушал очень внимательно, иногда — если строфа или строчка ему нравились, — одобрительно кивал головой, но значительно чаще хмурился и смешно морщил нос.

Когда чтение кончилось, Багрицкий хлопнул ладонью по дивану и сказал, как нечто очевидное и давнее решенное:

— Ладно, спасибо! В следующий раз — в пятницу — будем разбирать то, что вы сегодня читали!..

Он хитро нам подмигнул:

— Приготовьтесь! Будет не разбор, а разнос!..

Так, неожиданно, мы стали учениками Эдуарда Багрицкого.

Это было и очень почетно, и совсем не так-то легко.

Эдуард Георгиевич был к нам, мальчишкам, совершенно беспощаден и не признавал никаких скидок на возраст.

Он так и говорил:

— Человек — или поэт или не поэт! И если ты не умеешь писать стихи в тринадцать лет, ты их не научишься писать и в тридцать!..

Как-то раз я принес чрезвычайно дурацкие стихи. Написаны они были в форме письма моему якобы родственнику и крупному поэту, проживающему где-то в чужой стране. В этом письме я негодовал по поводу того, что поэт не возвращается домой и утверждал, что когда-нибудь буду сочинять стихи не хуже, чем он, а может быть, даже и лучше.

Багрицкий рассердился необыкновенно.

Он чуть не подпрыгнул на своем продавленном диване, замахал руками и закричал, кашляя и задыхаясь:

— Глупости! Чушь собачья! Ерунда на постном масле! Почему это я когда-нибудь буду писать не хуже, чем он?! Я уже и сейчас пишу в тысячу раз лучше!

— Так ведь это я не про вас, Эдуард Георгиевич,— попытался я оправдаться,— это же я про себя!

И тут Багрицкий сказал удивительные слова. И сказал их уже без крика, а серьезно и негромко:

— Ты поэт. Ты мой поэт. Всякий поэт, который находит своего читателя,— становится его поэтом. И все, что ты говоришь, ты говоришь и от моего, читателя, имени... Запомни это хорошенько!

Я запомнил, Эдуард Георгиевич, я не забыл! ...На одном из занятий Володя прочел свой новый рассказ.

Багрицкий одобрительно кивнул:

— По-моему хорошо! Я, правда, в прозе не очень-то, но по-моему — хорошо!

В следующую пятницу, едва мы только расселись, раздался стук в дверь и в комнату Багрицкого быстро и почему-то бочком вошел невысокий человек в очках, с широким и веселым лицом.

Багрицкий сказал:

— Познакомьтесь, ребята! Это Исаак Эммануилович Бабель!

Мы восторженно замерли.

Бабель очень уютно примостился на диване, рядом с Багрицким, а Эдуард Георгиевич повелительно сказал Володе:

— Прочти, что ты нам в прошлый раз читал!

Пока Володя, глухо и монотонно, читал свой рассказ, Багрицкий и Рахтанов смотрели на Бабеля, а Бабель слушал, полузакрыв глаза и не шевелясь.

Потом, когда занятия кончились, Бабель увел Володю к себе — они с Багрицким жили в одном доме.

С тех пор, уже отдельно от нас, Володя стал бывать у Бабеля.

...Когда Багрицкий умер, наша бригада как-то сама собою распалась и мы разбрелись — кто куда. В те годы многие видные поэты вели кружки молодых — и я перебивал в кружках Сельвинского, Луговского, Светлова, но так нигде толком не прижился.

А потом для меня начался театр, и стихи на долгие годы и вовсе ушли из моей жизни.

...И вот, ровно сорок лет спустя, мы сидим с Володей на кухне у нашего общего друга, который, собственно, и задумал снова свести нас — пьем, едим, беседуем.

Володя, все такой же сонно-подслеповатый, но сильно погрузневший, ставший кряжистее и квадратнее, тягучим и веским голосом — от которого у меня сразу же заболела голова — внушает мне:

— Ты же русский поэт, понимаешь?! Русский!

Зачем же ты, особенно в последнее время — я слышал твои новые вещи — занимаешься какой-то там еврейской темой?! На кой она тебе сдалась?! Что за дурацкий комплекс неполноценности!

Уже понимая, что за этим последует, я вяло возражаю ему. Я говорю, что комплекс неполноценности тут решительно ни при чем, что сегодня, сейчас, на наших глазах совершается новый Исход, уезжают навсегда тысячи людей, и среди них наши друзья и знакомые, милые нашему сердцу люди — и что остаться к этому равнодушными мы просто не имеем права, что мы обязаны об этом писать.

— Пусть другие об этом пишут! — гудит Володя и тычет в меня очень толстым указательным пальцем.— А тебе об этом писать не надо!

— Почему мне именно, русскому — как ты говоришь — поэту, об этом писать не надо? — задаю я уже слегка провокационный вопрос.

Володя усмехается:

— Именно тебе не надо, понял?!

Я понял тебя, друг моего детства! Я тебя прекрасно понял!

Это все тот же заколдованный круг, сказка про белого бычка, кольцо, которое не сомкнуть, не разомкнуть!

Если я русский поэт, то какое мне дело до евреев, уезжающих в Израиль? А если мне все-таки до них дело, то это только потому, что я сам по происхождению еврей! А раз я еврей, то я тем более не должен интересоваться, думать и писать об уезжающих в Израиль! Пускай об этом пишут другие — со стороны еврея это бестактно!

Вот и поди — вырвись из этого круга!

А Володя, уже слегка захмелев, все продолжает тягуче гудеть, как большой и злобный шмель:

— Что же, милые мои, получается?! Сами во всем принимали участие: и в двадцатые годы, и в тридцать седьмом, и после — а теперь бежать?! Нет уж, вместе кашу варили, вместе давайте ее и расхлебывать! А то, понимаете, одни уезжают на свою — изволите ли видеть — историческую родину, а другие... А скажите мне — рязанскому парню, костромскому, ярославскому — им-то куда прикажете податься?!

Умри, Денис, лучше не скажешь!

Я встал и, сославшись на головную боль, ушел.

Прощай, друг моего детства! Больше нам с тобою видеться незачем! Ну, разве что еще разок, снова сорок лет спустя! Впрочем, вряд ли мы с тобою проживем так долго, конечно — не проживем, так что — прощай!..

...По мокрому снегу, посыпанному крупной серой солью, мы возвращались с женой домой. Мы шли из театра. Мы шли с генеральной репетиции моей пьесы «Матросская тишина».

За генеральной репетицией обычно следует премьера, банкет.

Но на сей раз банкета не будет!

Была — но съедена конфета,
Была — но съедена котлета,
На всем столе одна галета —
Привет участникам банкета!..

Банкета не будет. И цветов не будет, аплодисментов, вызовов на поклон, звонков от друзей с просьбой помочь достать билетик на спек-

такль — ничего этого не будет, потому что, прежде всего, не будет самого спектакля.

— Это, в конце концов, неплохо, что студийцы, в учебном порядке, поработали над таким чуждым для них материалом, а теперь, товарищи, надо искать свою, молодую, близкую по духу драматургию! Спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперед и выше, товарищи!..

...Вы что же хотите, Александр Аркадьевич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре, шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?!

— Нет, нет, упаси меня Бог, я этого, разумеется, не хочу!

...Мы пришли домой, где нас уже у двери ждала наша собака Чапа. Это было удивительное создание. Собачий ангел — мы не знали этого точно, но догадывались, что это именно так. Обыкновенно, если нас долго не было дома, Чапа, при встрече, закатывала нам скандал. Она вспрыгивала на диван и произносила монолог:

— Как же вам не стыдно?! Где вы пропадали?! Это свинство! Вы же знаете, что я вас жду, а вы все не идете и не идете!..

Но в тот день Чапа нас встретила молча. Она взглянула на нас своими скромными печальными глазами и, в знак утешения, повиляла хвостом.

Я поднял ее на руки, и она лизнула меня в нос.

...Когда Чапа умерла, наша дочь похоронила ее за своим домом, в овраге, под деревьями. Хоронить пришлось ночью, тайком — иначе могла нагрянуть санитарная инспекция и оштрафовать.

В Москве вообще похоронить трудно.

А человека даже труднее, чем собаку. Особенно если человек верующий и не хочет, чтоб его сжигали в крематории.

Похоронить в Москве трудно.

Убить — легко.

Серебряный бор — Москва.

29 мая 1973 года.



КУЛЬТУРА И БОРЬБА ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ИНТЕРВЬЮ
с А. ГАЛИЧЕМ *

— Как-то, Александр Аркадьевич, Вы сказали, что борьба за права человека, в сущности, является борьбой за духовную культуру. Не могли бы Вы уточнить Вашу мысль для читателей «Русской мысли»?

— С удовольствием. Летом мне довелось побывать в Страсбурге. Пригласили меня молодые христианские демократы на их семинар. Первый вечер оказался свободным, и я пошел в знаменитый Страсбургский собор и попал на спектакль «Звук и свет». Программа шла на немецком языке, а я его знаю. Из рассказа об истории собора я узнал, что во время Великой французской революции мэр города, ярый революционер, издал приказ разрушить собор, и его начали разрушать,

* Одно из последних интервью с А. Галичем, опубликованное 24 ноября 1977 г. в газете «Русская мысль».

когда какой-то хитроумец сказал мэру, что их собор — одно из самых высоких зданий в Европе и поэтому его лучше не разрушать, а сшить большой яacobинский колпак и надеть на шпиль собора, чтобы все, за многие километры, смогли увидеть, что Страсбург — город Революции. Мне показалась эта история, пусть даже выдуманная, очень знаменательной, ведь я принадлежу к тому поколению, на глазах у которого уничтожали знаменитые церкви, как, например, Иверскую часовню Божией Матери, возле которой я жил, Параскеву Пятницу, Собор на Страстной площади, теперь площадь Пушкина. На моих глазах был взорван Храм Христа Спасителя, и я видел, как безвозвратно гибли бесценные нестеровские фрески...

Говорю я об этом не случайно. Однажды Зинаида Алексеевна Шаховская прочла мне две строки — кажется, Берберовой — «Мы не в изгнании, мы в послании», которые я часто повторяю. Сначала мне казалось, что «послание» — слишком ответственное слово. Но потом, постепенно, я убедился, что это так: Россия, Дух русского народа как бы послали нас в иные страны, с единственной целью — хранить нашу духовную культуру, нести ее в мир, беречь и, если хватит сил, приумножать. Наша обязанность сохранить бесценное наследие, доставшееся нам от отцов и дедов. Потому что я совершенно убежден, что когда во всем мире так много говорят о правах человека, о борьбе за права человека, то защита духовных ценностей как раз и является частью этой борьбы. Ведь наступление на права человека и начинается с наступления на его духовный мир, мир духовных ценностей, с наступления на них и с разрушения их.

Там, где попирается право человека на наследие его отцов и дедов, там, следом за этим, приходят ложь, насилие, смерть.

— *И большевики от этого никогда не отказывались. Не провозгласили ли они, придя к власти, что все, что было до них, — предыстория, тогда как история, настоящая история, начинается с Октября?*

— Это заявление — одно из того, чудовищного и уродливого, что принес России коммунизм. И когда во Франции и в Италии, где я был уже много раз, выступая по всей стране, я вижу на прекрасных зданиях Парижа, Рима, Флоренции, Венеции... намазанные чьими-то варварскими руками серпы и молоты, то сразу же приходит мысль — вот с этого и начинается наступление на права человека! Тем более, что я убежден, что руки, рисовавшие эти знаки, никогда ни серпа, ни молота не держали и даже не знают, как с ними обращаться.

И вот, я повторяю, все мы, оказавшиеся в эмиграции, т. е. действительно в изгнании, вне различия возраста и того времени, когда и как мы попали на чужую землю, все мы, в сущности, едины и наша главная задача, общая для всех нас, заключается в том, чтобы сохранить и приумножить то духовное наследие, которое досталось нам от отцов, дедов и прадедов.

— *А что в этом направлении делает «Континент»?*

— Я был очень обрадован, прочтя в «Р. М.» обращение Солженицына относительно семейных архивов, потому что еще до него мы решили ввести в журнале отдел, который так и будет называться «Из семейных архивов». Мы убеждены, что в неведомых нам шкатулках и сундуках

лежат письма, записки, воспоминания, могущие явиться совершенно бесценным «историческим материалом». И возвращаясь к этому нашему наследию, мы прежде всего сумеем научиться быть едиными и уважать друг друга.

— Но разве в «Русской мысли» мы не преследуем ту же цель? Мы всегда старались избегать всего, что может разделять, в частности разделять так называемые «три» эмиграции. Эти раздоры лишь радуют наших врагов.

— Безусловно. И я с удовольствием прочел в Вашей газете заметку Серафима Милорадовича об этом вопросе. И дело вовсе не в том, будем ли мы радовать КГБ или Кремль, но в том, что мы ведь делаем одно большое общее дело, и чем больше мы будем друг другу помогать и уважать то, что каждый из нас делает, тем прочнее будет наше дело. Это не значит, что нельзя судить, но только судить надо уважительно, без пренебрежения, судить — не осуждая, судить — советуя.

Мне, например, не всегда нравится, что делают даже мои ближайшие друзья, и если я их сужу, то сужу как близкий друг. И это чувство близости должно быть обязательным для всех нас.

Что там говорить, надо честно признать, что все-таки, как ни верти, а эмиграция — состояние для человека неестественное, особенно для литераторов.

— И тем более русских: там — несвобода и цензура, здесь — свобода и чужая страна, главное, чужой язык. Для музыкантов, художников, скульпторов — иначе. Для писателей и поэтов — сложно и трудно.

— Особенно для поэтов. Когда мы по-русски читаем, скажем, Томаса Манна, то даже в переводе мы понимаем, что это великий писатель. А вот когда мы по-русски читаем Рильке в переводе Пастернака, то видим, что это замечательный перевод, но ведь он сделан Пастернаком, и мы можем лишь верить, что Рильке большой поэт, так как мы не можем проверить, так ли он впрямь значителен и велик.

Недавно вышли в ИМКА—Пресс неизданные письма Цветаевой. Письма трагические. По всей вероятности, она была очень трудным человеком, неуживчивым, со сложным характером. Но она была Цветаевой. И когда она пишет, что сказала людям «вы выталкиваете меня в Советскую Россию», то невозможно без щемящей боли читать эти строки.

— Да, эмиграция вытолкнула Цветаеву в Советскую Россию, но Советская Россия толкнула ее на смерть.

— Да, это так. Мы жалуемся, что Запад не хочет делать выводов из нашего горестного опыта. Но давайте научимся, прежде всего, и сами делать выводы из наших прошлых ошибок, потому что это наши общие ошибки. Вот почему мне хотелось, чтобы были навсегда забыты разделения: первая эмиграция, вторая эмиграция, третья эмиграция. Есть просто эмиграция — русские люди, писатели, художники, скульпторы, журналисты и просто не смогшие принять советского строя. Эмиграция едина, и так мы должны ее рассматривать и, соответственно, друг к другу относиться. Мы едины.

Ведь придет все же такая пора, когда мы вернемся. Кстати, на днях выйдет книга моих

стихов, которая так и будет называться «Когда я вернусь». Я верю, что мы должны когда-нибудь вернуться. Быть может, не мы, физически, но следующие за нами вернутся. И здесь я всегда вспоминаю прекрасную и грустную строку Лермонтова. Она завершает его стихотворение: «Но в мире новом друг друга они не узнали».

— *Но узнаем ли мы или они ту Россию, в которую вернемся?*

— Не дай нам Бог не узнать! Не дай Бог, чтобы и она не узнала нас. Ведь произошли необратимые перемены. Они происходят в любом обществе, в любой стране. Но тот факт, что Советский Союз живет такой уродливой, такой неправдоподобной жизнью, что жизненные условия там столь фантастичны и алогичны, противоречат всем человеческим нормам, то и произошедшие там перемены по-настоящему огромны. Но будем надеяться, что они все-таки преодолимы.

Недавно здесь, в Париже — в Москве об этом можно было только мечтать, — мне удалось прочесть почти полный комплект журнала «Новый град», в котором писали замечательные русские философы Федоров, Ильин, Бердяев, Булгаков, Вышеславцев, Франк... Я с большим волнением его читал и все думал — а это ведь 32—33-й годы! Но уже тогда все они предупреждали об опасности, о которой мы продолжаем кричать и сегодня. Так что, не задаваясь космическими задачами, ограничимся хотя бы тем, с чего я начал: будем беречь наше духовное наследие и одновременно беречь и уважать друг друга. И позабудем искусственное деление на первую, вторую и третью эмиграции. Единственно, что имеет значение, это знать, насколько далеко зашла болезнь

там, какие там произошли процессы, не отпускать, как говорится, руку с пульса нашей родины.

Вот мне вспоминается, как в 36-м году я присутствовал на последнем спектакле Второго МХАТа. Это был самый любимый интеллигенцией театр, пожалуй, даже больше, чем МХТ первый. Утром вышло постановление об его закрытии, а вечером шел последний спектакль. По фарсовому стечению обстоятельств в этот вечер шла пьеса французского драматурга Дювалаля «Мольба о жизни». Это комедия. Но она шла под глухое рыдание зрителей. И когда спектакль закончился, произошла настоящая демонстрация: в течение почти пятнадцати минут зрители стоя аплодировали и не хотели расходиться. А ведь это были страшные годы — арестов, чисток и процессов. А зал пятнадцать минут стоял, провожал в небытие свой любимый театр. Это был по-своему акт мужества, выход на площадь. И мне бывает обидно, когда я слышу презрительные слова — о том, что, дескать, русская интеллигенция всегда покорно склоняла головы перед насилием.

— Ну, а каковы Ваши личные планы? Что пишете, что подготавливаете, где собираетесь выступать?

— Сейчас жду выхода сборника «Когда вернусь» и уже жалею, т. к. за это время кое-что успел написать, что хотел бы включить, но поздно. Начал писать большую прозаическую вещь, но она перебилась другой работой, тоже прозаической, которая будет называться, как одна моя песня, «Еще раз о черте». Пишу ее с поспешностью и с большим увлечением, к Новому году надеюсь закончить.

Кроме того, у меня очень много выступлений.

Снова собираюсь в Италию, буду принимать участие как свидетель в «Сахаровском слушании» и как раз намереваюсь говорить о наступлении на духовную культуру как о начале наступления на права человека. Затем у меня будет большой сольный концерт на Венецианском биеннале 3 декабря. Потом поездки в Германию, даже, быть может, в Австралию.

— *А как же во Франции? Концерт в Париже 19 ноября Вы отменили из-за болезни.*

— Я очень об этом сожалею, тем более, что мне хотелось бы почаще выступать во Франции и тем более в Париже. Итальянские выступления убедили меня, что с хорошим переводчиком можно выступать и перед инакоговорящей публикой. Хотя ту радость, которую испытываешь при контакте с русскими, ни с чем не сравнить. Так было в Остии перед новыми эмигрантами, ждавшими отправки в разные страны, было так и в Милане, где набился полный зал русских. Поэтому я очень, очень тоскую по русской аудитории.

— *А как прошли Ваши концерты в Израиле? Я как раз был в Иерусалиме, когда увидел там афиши с объявлением об одном из них. Но мне уже надо было возвращаться в Париж.*

— Первая поездка (в отличие от второй, не слишком удачной по целому ряду не зависящих от меня причин) была фантастической, настоящим триумфом. Таких огромных концертных залов я вообще нигде не видал. В Тель-Авиве, например, зал на 2800 мест. Я выступал в нем два раза подряд, и все места были проданы. Так же было и в Иерусалиме, в Театроне, где зал на

2000 человек не смог всех вместить и многим пришлось сидеть на ступеньках, за кулисами, на сцене. Повторилось это и в Хайфе. Но это неудивительно. В Израиле ведь очень много не только говорящих по-русски людей, но и людей, недавно выехавших из СССР, которым понятны многие детали, все то, что ускользает от тех, кто уже давно оторван от родной земли.

И здесь, в заключение, мне хочется повторить то, с чего я начал: наша обязанность, наш долг — ежедневно и ежечасно помнить о том, что все мы находимся в эмиграции не для того, чтобы спастись, а для того, чтобы спасти — нашу культуру, нашу веру, наше стремление к правде и добру — спасти их от лжи, насилия и человеческой разобщенности.

Беседу вел
К. Померанцев

СОДЕРЖАНИЕ

А. Ш а т а л о в. «Я на этой земле останусь»	5
--	---

ПРОМОЛЧИ

Песня об отчем доме	15
Петербургский романс	17
Гусарская песня	24
Бессмертный Кузьмин	26
Спрашивайте, мальчики	30
Еще раз о черте	31
Старательский вальсок	34
Летят утки	37
Плясовая	39
Облака	41
Ошибка	43
Баллада о Вечном огне	46
Ночной дозор	50
Переселение душ	52

ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ

Легенда о табаке (<i>памяти Д. Хармса</i>)	55
На сопках Маньчжурии (<i>памяти М. М. Зощенко</i>)	59
Снова август (<i>памяти А. А. Ахматовой</i>)	63
Без названия (<i>Ей страшно. И душно</i>)	66
Занялись пожары	67
Возвращение на Итаку (<i>памяти О. Э. Мандельштама</i>)	69
Памяти Б. Л. Пастернака	72
Памяти Живаго	78

Без названия (Вот и пришли ко мне седины)	81
Поезд (<i>памяти С. М. Михоэлса</i>)	83
Псалом	85
Мы не хуже Горация	87
Уходят друзья (<i>памяти Фриды Вигдоровой</i>)	91

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Прощание с гитарой	95
Счастье было так возможно	97
Песня о Синей птице	98
Леночка	100
Вальс-баллада про тещу из Иванова	104
Городской романс	106
Новогодняя фантасмагория	110
Красный треугольник	115
О том, как Клим Петрович выступал на митинге в за- щиту мира	118
Плач Дарьи Коломийцевой по поводу запоя ее супруга Клима Петровича	121
Песня-баллада про генеральскую дочь	124
Баллада о прибавочной стоимости	127
Баллада о стариках и старухах	131
Признание в любви	135

КОГДА Я ВЕРНУСЬ

Когда я вернусь	141
После вечеринки	144
Песня о Тбилиси	147
Песня про велосипед	150
Старый принц	153
Салонный романс	155
«От беды моей пустяковой»	158
Слушая Баха	162
Песня исхода	163
Прилетает по ночам ворон	166
Закливание добра и зла	167

Опыт ностальгии	170
Засыпая и просыпаясь	174
Русские плачи	176
Когда-нибудь дошлый историк	179
Кошачьими лапами вербы	181
Песенка-молитва	183
Последняя песня	184

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Генеральная репетиция. <i>Автобиографическая проза</i>	187
Культура и борьба за права человека. Интервью с А. Галичем	307



**Александр
Галич**

**ВОЗ-
ВРАЩЕ-
НИЕ**

Редактор *Г. А. Соловьева*
Художник *А. А. Кармацкий*
Худож. редактор *О. А. Сунгурова*
Техн. редактор *Е. Ф. Николаева*
Корректор *Г. В. Романычева*

Сдано в набор 5.02.90. Подписано в печать 14.08.90.
Формат 70×100¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура
литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,9.
Уч.-изд. л. 11,2. Усл. кр.-отт. 19,51. Изд. № 3668.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 535. Цена 7 р.

Издательство «Музыка», Ленинградское отделение.
191123, Ленинград, ул. Рылеева, 17.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового
Красного Знамени Ленинградское производственно-
техническое объединение «Печатный Двор» име-
ни А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136,
Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Галич А.

Г15 Возвращение: Стихи, песни, воспоминания. Предисловие А. Шаталова.— Л.: Музыка, 1990.— 320 с.

ISBN 5-7140-0404-3

Вот уже третье десятилетие звучит с магнитофонных пленок голос Александра Галича, поэта, композитора-барда, драматурга. В это издание вошли его стихи, автобиографическая проза «Генеральная репетиция», а также песни: песни-реквиемы памяти О. Мандельштама и Б. Пастернака, знаменитые «Облака», «Когда я вернусь» и др. Над нотной строкой проставлены обозначения аккордов для аккомпанемента на гитаре.

Издание улучшенного качества, иллюстрированное. Для широкого круга читателей.

Г $\frac{4905000000-657}{026(01)-90}$ **КБ №4132**



7 p.